

## *Глава седьмая*

**В** хате дымила печь. Дым воспалял глаза. Я ушла в сарай. Укрылась шинелью. Вечера стали прохладные. Холодный осенний ветер рвал соломенную крышу.

В сарай вошел Саша. Мы долго разговаривали с ним.

— Вот я и говорю тебе, Зина, не легко нам. Какие у нас заработки? Используют нашего брата богачи, используют, поняла? А то бы разве мало я заработал? Я, — не думай! — я неплохой слесарь.

Ночь надвинулась по-осеннему рано. Тоскующе завывал ветер. Изредка доносились орудийные выстрелы.

Гусев пододвинулся ко мне.

— Зина. Я тебе давно хотел сказать, — все приглядывался к тебе. Сильно ты мне нравишься. Я тебе, так сказать, по-настоящему говорю, всерьез. Приголубь меня, Зин. Ласку твою помнить буду. Мне от тебя ничего не надо. Тут, при фронте, сама знаешь, всякие есть. Ты одна мне

нравишься. И интерес у меня к тебе большой. Ты не нашего звания, а обхождение у тебя такое мягкое и хорошее. Давид Маркович мне, так сказать, давно говорил, что из тебя человек выйдет, что ты не чужая нам, хоть ты и не наша.

Какая-то задушевная искренность слышится в Сашиных словах. Но, как только он возьмет меня за руку, краска приливает к моим щекам, и я отнимаю у него свою руку.

— Эй, кто там? Выходи. Возьми коня, подпруги не забудь отпустить. А ну, выходи скорее, чего заваландался!

Я слышу голос Замбора. Прижимаюсь сама к Саше. Поручика я ненавидела. Меня тошнило от одного вида приторно-галантной фигуры, мне уже не нравилось даже, что он так красиво одет.

— Ты чего дрожишь, Зина? Не бойсь, я в обиду не дам. Откуда его нелегкая занесла?

Сильный свет электрического фонаря забежал по стенкам сарая. Замбор осветил меня и Сашу.

— Заваландался — с добровольницей. А, ну...

Поручик слегка коснулся стэком Сашиного плеча.

— Я дневальным стоял, меня командир отпустил.

— Не рассуждать.

Я порываюсь и иду за Сашей. Мне преграждает дорогу поручик.

— Мы вместе выйдем отсюда.

Замбор наклонился и шепнул мне:

— Ты не уйдешь от меня.

Повернулся и вышел из сарая.

— Прикажете расседлать коня?

— Пошел вон, сукин сын.

Мы остались с Сашей во дворе. Замбор сам подтянул подпруги, вскочил на коня и ускакал.

— Может, он к тебе приходил? Свидеться хотели?

— Гусев, неправду говоришь. Я ненавижу поручика. Я тебе все расскажу.

— Брось дурачить меня, давно все знаю. Придет он к тебе.

Сашкина несправедливость, наглость поручика оскорбили меня до отчаяния. Я выбежала со двора, оседлала «Гнома» и понеслась в поле, по дороге к деревне Коропец, где стояла шестая батарея.

На рассвете я полезла на наблюдательный пункт. Там заглянула в перископ. На опушке леса ясно было видно копошившихся австрийцев. Они то выбегали с носилками, то снова прятались в лес в своих куцых серо-голубых шинелях.

Там, может быть, был убит не один такой же молодой австриец из Кракова, такой же улыбающийся слесарь, как тот



пленный. И снова вспомнились слова Шанского: «в своих стреляют»...

Батарея замолкла.

Уезжая с наблюдательного пункта, я слышала, как командир батареи сказал другому офицеру:

— Переманим ее к себе. Идет?

С какой-то удвоенной злобой, с сознанием полного одиночества, незаслуженной обиды от Саши возвращалась я в полк.

Быстро шел мой «Гном». В свежести первых заморозков на меня повеяло испариной человеческой крови, запахом фронта, может быть, впервые я почувствовала, поняла всю нелепость этой бойни. Неотступно передо мной была улыбка австрийца из Кракова. Меня обдало холодом ужаса; лошадь моя пошла домой карьером, от ее быстрого хода, от осеннего ветра у меня свистело в ушах, и вдогонку слышалось протяжное, заунывное у-у-у-у-у-у-у...

\*

Снег выпал неожиданно рано. Большими лохматыми хлопьями.

Я лежу больная в околотке. Врачи называли мою болезнь «испанкой». Жар сушит мое горло, в висках стучит, точно там трещат кузнечики.

Немного уцелело построек в деревне Ракитно. В полуразрушенных халупах, в са-



раях разместились солдаты обоза. Врачи взяли меня к себе, в школьный флигель. Учителя не было. Он давно покинул свое гнездо, ища нового пристанища. Деревенская школа заброшена, крыльцо замело снегом. Сильным ветром разметало соломенную крышу. У порога своей одинокой квартиры, поджав под себя одну ногу, дремал черный петух. В деревне не слышно ребячьего смеха. Никто не играет в снежки.

Порой покажется крестьянка с ведрами, за ней, скуля, пробежит собачонка и возвращается быстро в свою конуру. Открываются ворота — это школьный сторож гонит к водопою корову. Тощему телу животного зябко; корова едва передвигает ноги.

Я лежу на складной кровати. Целые дни полковые врачи играют в преферанс. Мне надоело смотреть на их задымленные лица, на эту непонятную для меня игру. Меня тянет на улицу, на мороз.

Уныло тянутся дни. С утра до вечера и с вечера до утра все та же игра врачей. В перерывах врачи ухаживают за мной, и мне кажется, что они это делают тоже от скуки.

Вечером я выхожу из квартиры. Денщик врача Де-Моррея раздувает голенищем сапога самовар. Свободной рукой он трет глаза.

— Глаза засорил, Николай?

По лицу Николая текут слезы. Он получил письмо из дома. Кум сообщал Николаю о его жене. Анисья взяла к себе в работники пленного немца и сошлась с ним. Кум каракулями рассказал Николаю о том, как в деревне на Анисью пальцами показывают и смеются над ее отяжелелым животом.

В самоваре забурил кипятик.

Николай, не расправив своих онуч, натянул сапог и понес врачам самовар. Я вышла во двор... Снег заскрипел под ногами. Качались голые деревья. Хохлились воробы в дверцах чужой квартиры, покинутой давно улетевшими на юг скворцами.

Набросив на плечи шинель, облокотившись о плетень, стоял Николай. Подперев голову руками, он смотрел на раскачивающийся скворечник.

Мириады снежных искр то зажигались, то снова меркли.

\*

Утро. Снова закладывается пулька. Де-Моррей оттачивает карандаш. Доктор тасует карты. Молодой врач Архипов позевывает.

Я собрала свои вещи. Попрощалась с врачами. Несколько часов я провела с больным «Гномом».

Шум пропеллера. Я снова бегу к врачам.

— Немецкий аэроплан.

— Почему именно немецкий? А может быть, наш? — испуганно спросил Архипов.

Все выбежали на улицу. Аэроплан кружится над нашим обозом. На окраине деревни разорвалась бомба.

— Бежим в погреб, — предложил де-Моррей.

Мы укрылись в погребе. Шум пропеллера не смолкал.

— Жаль, картишки не прихватили, — нарушил тишину Морозов.

— Я побегу за ними.

— Что вы, доктор, немец бомбит.

Но доктор Морозов уже не слушал. Он помчался к флигелю. Разорвалась бомба. Аэроплан пролетел совсем низко. Морозов вскочил к нам в погреб, дрожащими руками он тасовал карты.

— Предлагаю начать. Скучно так сидеть, ведь не в первый раз здесь сидим.

Иван Иванович Морозов достал чистую бумагу. Младший врач Архипов зевнул.

Игра началась.

\*

В окопах меня встретили Трофим и Климыч. Саша словно и не замечал моего прихода. Он был послан сюда для связи.

— Саша, а Саша, чего молчишь?



— С офицерами крутишься? К артиллеристам ездешь?

— Неправда это. Не по душе мне офицеры.

— Лезут они к тебе. Знаю все.

— Ну, лезут, это верно, а что они для меня?

Саша махнул рукой и отошел. Попрежнему стало обидно и противно при воспоминании о поручике. Меня все больше тянуло к Саше. Хотелось говорить с ним, он многим меня заинтересовал. И мне так нравились его синие глаза. Хотелось услышать от него ласковое слово. Я старалась услужить ему, согрела воды, постирала его любимую косоворотку. Пришила пуговицу к шинели. Он не обращал на меня внимания.

Из обоза пришел раздатчик, сообщил мне о «Гноме». «Гном» выздоравливал, и я снова вернулась в команду.

Нас трое разведчиков поселилось в маленькой хате. Тут же, рядом с нами, жила наша хозяйка с тремя ребятами. Как здесь, так и в окопах меня всегда удивляла заботливость окружавших меня разведчиков. Если я снимала гимнастерку и брюки, они всегда или отворачивались, или кто-нибудь из них загораживал меня своей шинелью. Я привыкла к такому способу раздевания, так же как привыкли к этому солдаты. А раньше я раздевалась всегда

под шинелью. Мои соседи заметили это, и Трофим первый сам предложил:

— Я постою в дверях, подержу шинель, занавешу тебя, ну, а ты раздевайся. Томление какое-то, если в одежде-то спишь.

\*

Мы спали на полу. Нос забивала копоть крошечного светильника. В коляске пищал ребенок. Мать встала, наклонилась над ребенком, широко зевнула, дала грудь сыну. Писк прекратился. Женщина постояла немного и снова легла. Ее широкая ступня медленно раскачивалась у меня над головой. И наконец остановилась. Темная ступня выпала из петли и тяжело ударилась о кровать. Женщина устало вытянулась вся и крепко захрапела.

Я ждала Сашу, хотела еще раз ему все объяснить. Кто мог ему наговорить на меня? Пропели третьи петухи, но он не возвращался.

Наутро было приказано всем разведчикам вернуться в окопы. С лошадьми остались обозники.

— Измотали совсем. То туда, то сюда. Я слышал, будто бы расформируют нашу команду.— Подпоручик Никольский пошел вместе с нами в окопы.

За ночь намело много снега. Согнувшиеся фигуры людей переминались с ноги на ногу.



— Скверное дело, ежели варежек не дадут,— жаловался Климыч.

Днем австрийцы открыли беглый огонь по 12-й дивизии. Говорили о наступлении дивизии на лес Должок. Ночью пришли саперы. Рассказывали про слуховые колодцы, которые им приказали сделать. Говорили, будто бы австрийцы проводят к нам минную галлерею. Кривдин доносил Плахову о слышанных им подземных стуках. Солдаты шептались, всюду было слышно одно слово: под коп.

Мы не спали. Прислушивались. Долгая зимняя ночь теперь казалась еще длиннее. Против участка четвертой роты крикали мины. Их разрывы пугали. Все думали: началось. Люди измучились. Спали тревожно.

Наступал яркий солнечный день. И проходил страх. В окопах начиналась жизнь. Капитан Крапивянский успокаивал солдат, обещая отвести их с этого участка. Он звал Плахова к телефону, просил разрешения отойти с позиции.

— Заживо людей собираетесь похоронить, что ли? Дальше так нельзя. Я беру ответственность на себя и уведу людей.

Меня всегда удивляла смелая речь капитана Крапивянского в обращении с старшим начальством. Мне казалось, что этот капитан ничего и никого не боится.

Австрийцы не стучали больше. Тихо было и на следующий день.



— Надо ждать взрыва, — доносил Кривдин.

По приказанию Крапивянского роты с наступлением темноты должны были перейти в резервные окопы. Пообедав, люди не облизывали своих ложек, вяло прятали их за голенища, а если ложка не слушалась, то ее бросали прочь. «Жук», кучерявая собака пулеметчиков, суетился, подпрыгивал и лизал руки солдат.

Я ободрала войлок с дверей землянки и, завязав его в палатку, перекинула огромный узел через плечо и вышла из окопов. В узком проходе увидела знакомую фигуру Саши.

— Зина, мне Иванов все рассказал. Ты это того, так сказать, извини меня. Не серчай. Я обидел тебя.

— Не я сердилась, а ты.

Я опустила узел с войлоком и так стояла, сдвинув папаху набекрень.

— Зина, слушай, я тебе так буду говорить: давай поженимся. Тебе удобнее будет. Я тебя к своей мамашке отвезу. Меня капитан Крапивянский посылают в Питер. Поедем, Зина. Разве ты не веришь, что и солдат хочет быть счастливым? А счастье, Зина, мне сдается, большое, большое. Ну вот как солнышко!

Снеговые, мутно-серые тучи нависли над окопами, а Саша говорил мне о счастье, о солнце.

— Саша, ты подожди. Вот кончится война, тогда я согласна, а сейчас я не поеду, я уж пока здесь останусь. После.

— Эх ты. Думал я, что ты враз решишь. Думал, ты отошла от несуразу всякого. Нет, видать, свое берет. Ну, ладно. Буду ждать.

Саша поправил на плечах лямку вещевого мешка, попрощался со мной и пошел.

Оглянулся. Сердце у меня больно защемило. Хотелось догнать его, остановить.

— Саша, Сашка! — Но не криком сказала, а шопотом, и неуверенный зов мой замер, больше я не звала Сашу. Подняла узел с войлоком и пошла в роту.

\*

Под аккомпанемент трехструнной балайки, раскачивая головой из стороны в сторону, напевал песню ефрейтор Ерыга.

Не то ну-те,  
Не то тпру-те,  
Говорили про войну:  
То ли месяц,  
То ли два,  
Мир объявится  
Сполна.  
Темна ноченька  
Придет,  
Ясно солнышко  
Взойдет.  
По окопам немец  
Бьет,

Землю кровушкой  
Зальет.  
Глянь-ка, братцы:  
Там убило,  
Здесь израняты  
Лежат,  
А начальство,  
Здрав рыло,  
Про конец войны  
Трещат...  
Не то ну-те,  
Не то тпру-те...

Снова и снова запевал Ерыга. Он всегда был затянут ремнем на последнюю дырочку. Его маленькие черные глаза быстро-быстро бегали.

Вошел ротный раздатчик и рассказал новости: будто бы в одной из кавалерийских частей полк отказался итти в наступление.

— Их спешили и погнали в атаку. В шестой раз они не захотели итти на высоту. Там, говорят, люди оглохли от непрерывных выстрелов пушек шимоза. Весь город дрожал от выстрелов. Солдаты шли по снегу в наступление, а немцы отбивались контр-атаками. Слышали: есть новый приказ итти на помощь кавалеристам.

К вечеру новости подтвердились. Ставропольцы и крымцы должны выступить на поддержку конному корпусу графа Келлера.



\*

В полночь нас сняли с позиции. За деревней полк построили. Вслед за арьергардом шла полицейская команда. По дороге мы встречали спешенных кавалеристов конного корпуса. Один из кавалеристов бросил на ходу:

— Не идите туда, на гибель посылают.  
Шла, хмурилась пехота.

Полицейские ловили дезертиров и били их прикладами.

Сделав лишь один большой привал, ставропольцы прошли тридцать километров. Люди были без горячей пищи. В деревне встретили раненых кавалеристов.

— Наступали-наступали, в полку с сотню людей осталось. В шестой раз на высоту погнали. Дезертировать начали ребята. Кто куда. Сказывают, сколько наших в тылу переловили. Ужасъ. Вчера так одного дезертира измордовали, страсть. Кабы нас много да не раненых, мы бы не дали измываться над ним. Дерягин Степан кровью истек под кулаком их благородия.

Раненые прикурили у пехотинцев и, опираясь друг о друга, двинулись по снежному полю.

\*

Новые окопы были очень мелкие. Здесь не было ни одной хорошей землянки. Мы

с Терехиным нашли убежище: там посреди не стоял ящик, а в углу намело сугроб снега. Над головами у нас торчало бревно.

«На зимние квартиры приехали. Но и здесь не легче. Домой бы сейчас, на полатки» — раздумывал Трофим.

Мы уселись на лежанке, ничем не покрытой. Все были утомлены переходом и сидением в прежних окопах. Мутная, горячая жижица, принесенная раздатчиком, согрела немного нас. Сидя засыпали.

\*

Дрогнула земля. Страшным, оглушительным гулом отдалось эхо.

— Взрыв.

— Господи, Никола-мученик, что это такое?

Все выбежали из хода сообщения. Батальонный вестовой стрелой пронесся мимо нас.

— Взрыв в 12-й дивизии.

За вестовым погнался Ерыга.

— Где? Кого взорвали?

Снова заклокотали пулеметы. По всему фронту открыли частый ружейный огонь. Пробежал телефонист. Климыч схватил его за рукав:

— Скажи, ежели что знаешь. Пошто народ томить? В толк не возьмешь. Взад или вперед?

— Саперы, наши саперы 12-й дивизии, взорвали австрийцев. Текают почем зря.

— Слава те, господи, поутру чаек с галетами пить будем. — И, кутаясь в свой серенький шарф, Трофим перекрестился.

Никто не предполагал, что одновременно с австрийцами рыли подкоп, только на другом участке, наши саперы. Никто не думал так скоро попасть в теплые австрийские блиндажи.

Наутро четыре линии окопов ставропольцы и крымцы заняли без потерь.

Черешенко, покручивая усы, улыбался:

— Ото ще диво! Лестричество на фронте! Зовсим, як у нашего пана на заводе. Якогось гудзика крутнешь, и заблестит, як в тиатрах. Ну и красота. Во яка разумна людина.

Черешенко беспрестанно повертывал выключатель, любуясь австрийскими усовершенствованиями.

— А ты видел, как они патроны сюда доставляли? Глянь поди. Они их на вагончиках подвозили. Господи, пресвятая мать богородица, глянь-ка, ребята: ручной мойник висит.

Трофим взял на ладонь свою бороду и поднес ее к умывальнику. Рядом с умывальником висело чистое мохнатое полотенце.



## *Глава восьмая*

**В**етер подмел окопы и затих. Над австрийскими линиями задымили печи. Батареи молчали.

Наступила зима. Солдаты кололи дрова и в сумерках разжигали огонь в офицерских блиндажах. Там имелись сложенные из кирпича и глины настоящие печи.

Нам выдали папахи и башлыки. Мне нравился этот новый головной убор. Я заглянула в зеркало; от постоянных переходов лицо мое еще больше загорело и обветрело.

— Вот смотри, Ерыга: винтовку я знаю. И пулемет буду знать.

— Учишься? Пулемет, Зина, дело серьезное. Главное — это сумей задержки устранять. Учи ее, Ерыга. Я от Насти письмо получил. Если, говорит, что, то и я пойду и буду, как ваша Зина. Низко она кланяется тебе. Слышь?

Возле меня стоял Иванов. В этот ясный зимний день его голос не был утрым.

— Я научусь. Серьезно тебе говорю,— я буду стрелять из пулемета и задержки уже умею устранять. Вот спроси у Ерыги, — меня Саша учил.

— Да, она это того! В общем ничего, здорово,— похвалил меня Ерыга.

— Кланяйся, Иванов, своей Насте от меня. Не уходи, посиди с нами.

Ерыга притопывал ногой и, ударяя щекой по пряжке пояса, пел:

Как в окопах мы сидели,  
Ото вшей тех очумели,  
А приехал генерал —  
Он нам в морды надавал,  
Так, незнамо и пошто,  
Аль заныло все нутро.  
Тут мы к взводному, —  
Мотри,  
Нуть-ка слезы оботри.  
А ен обиды не понял  
И нам нос наковырял.

Климыч десятый раз огибал плечами у входа и вновь отмерял шаги.

— Брось, Климыч! Велико дело, девку твою замуж отдают. Года подошли. Чего ждать?

— Да не в том дело, Ерыга. Девке срок подошел,—это верно. Али за кого отдадут-то? Брат урядника Николай Фетихин, вдовец с тремя ребятишками. Он с утра до ночи пьет, бабу свою, покойницу, до смерти довел да одно дитяtko в брюхе ее

замертвил. А Оленька, моя дочка, — на всю округу красивей нет. Эх, обида.

— А ты, Климыч, не печалься больно-то. Поспи; перейдет печаль. Все одно отсюда не крикнешь семейству-то: стой, мол. Далеко они от нас, ой как далеко, прости, господи, меня грешного.

— А ты все крестишься, Трофим? Ну и как? Помогает?

— А кто его знает. Может, и помогает.

— А я так считаю, что мало помогает.

— Да ты, Иванов, насчет господней воли сомневаешься, это мы знаем.

— Он и насчет царской воли сомневается, — шопотом сказал Ерыга и весело рассмеялся. Вместе с его задорным смехом расхохоталась и я.

— Царь — он помазанник божий, и в его подчинении вся Россия.

— Помазанник... Да что ты в самом-то деле, Трофим. Хоть ты, хоть я, все из одной закваски сделаны. Так и царь со своими министрами. Никакие они не помазанники, от их озорства народ стонет. Не знаешь, что ли?

— Знаю. Сам знаю, и Давид Маркович, царство ему небесное, не раз нам сказывал. А все ж сомнение берет. Потому — царь. Это тебе не дырка от бублика.

Мы снова с Ерыгой громко рассмеялись.

— Тише вы: не дай, господи, услышат, — остановил нас Терехин.



Иванов, улыбаясь, посмотрел на Терехина, а затем тихо и с страшным негодованием сказал Трофиму:

— Задурили головы мужикам. Помазанник. На кого спину гнем? Не господские ли выгоды защищать нас послали? У мужика землю отбирают. Для чего моя Настя по двенадцать часов у станка стоит? Захирела от нужды. Теперь вот, видишь, не под силу стало. Пишет: бросайте, говорит, там эту войну, себя будем защищать. Ты что, Трофим, думаешь, этого тебе мало, коли баба заговорила? Не под силу им там. Понял ты? Выбрось дурь из головы, Трофим. Будто ты не знаешь, что творят над народом богачи? Загляни подальше своего носа.

— Выходит дело, может, оно и так. Ты не уходи.

— Пойду я. Пора мне. Прощевайте покаместь.

Иванов ушел. Все сидели молча, никто больше не смеялся.

\*

Ставропольцы сменили Якутский полк. Непосильные морозы держались все эти дни.

Лютый холод зимы шестнадцатого года не щадил никого.

Под утро мы шли с Терехиным в полевой караул.

Падал снег.

— Вот и смена пришла, вставай.

Трофим толкнул часового. Серая фигура, облокотясь на стенку, опустив голову, упиралась темной бородой в грудь. Руки раскинулись. Одна черная варежка его в пестрых заплатках валялась на земле.

— Вставай, братец, — смена пришла. — Трофим снова нагнулся над солдатом.

Серая фигура не отзывалась.

Трофим приблизился к уху часового и крикнул:

— Смена! Проснись, братец!

Молчание.

Вдруг Трофим схватил меня за руку и крепко ее стиснул.

— Зин, Зиночка, снежок-то на нем не тает. Упокойничек сидит, ей-бо, упокойничек.

Часовой не проснулся и сна своего поутру не рассказал землякам.

Терехин поднял с земли варежку, померил, — подошла. Другую снял с окоченевших пальцев солдата, похлопал рукавицами:

— Пригодилась, прости, господи, мя грешного...

Позже пришли санитары. Кряхтя, подняли в ледяной тяжести серую фигуру.

В вечной дреме застыло лицо. Тело в коленях не разгибалось.

А на том выступе, где уснул в эту лютую ночь часовой, лежал ситцевый его кисет, туго закрученный веревочкой; на земле валялся козьей ножки окурок.

\*

Два дня продолжался бой за взятие командной высоты. В разбитых халупах лежали раненые. Многих отправляли в тыл, не сменив повязки.

Жирный, неповоротливый фельдшер вкладывал белый ком марли в глазной провал солдата. Хрусталь слез смешался с каплями крови, стекая к разорванному воротнику. Хирург Морозов окончил операцию. Солдат Кузька проснулся:

— Домой поеду?

— Может, и поедешь. А сейчас в госпиталь.

— Домой хочу.

Кузька посмотрел на блестящий ланцет врача и испугался.

— Ой, не надо. Не хочу больше. — Кузька приподнялся на локте и зачесал бок.

— Господи, мамка родимая, где покой от них сыскать? Кусают, окаянные...

Разбинтовали рану Ибрагима Ахмедова.

Его раздробленная кость чернела ожогом. Фельдшер отмывал вокруг раны перекисью водорода.



— Сама себя ранила?—смеялся Де-Моррей, занося фамилию солдата в книгу записей. Тоненьким голосом Ахмедов говорил:

— Я в казармах служил. В окопах служил. В Казань поеду.

Молодой татарин виновато улыбался и вопросительно смотрел на Де-Моррея.

Ибрагим Ахмедов не знал о введенном суровом наказании для самострельщиков.

Ибрагим Ахмедов, разглядывая свежую повязку и вертя юботанной рукой, как марионеткой, — улыбался.

В этот зимний месяц все больше и больше бывали случаи самострелов. В полку зачитали приказ, гласивший о том, что самострельщики будут наказываться розгами и при вторичной попытке будут караться военно-полевым судом.

Фельдфебель полицейской команды Дубело самолично устраивал экзекуции над солдатами, точно выполняя приказ начальства: по сто розог самострельщику. Полковник Плахов одобрительно похлопывал по плечу Дубело. Их уход из сарая сопровождался протяжным человеческим стоном, обрывавшимся выкриком непосильной боли.

Все чаще то тут, то там среди солдат я видела пулеметчика Иванова. Он был угрюм. Его глаза были озабочены. Однажды он мне сказал:

— Скоро Саша вернется. Он сейчас здесь нужный.

— А я?

Иванов отодвинул меня легонько и быстро пошел в роту. Я не выдержала и побежала за ним. Иванов говорил, почти шопотом:

— Кто же из вас еще не понял всего?

— Ну, ты нам говорил про врага унутреннего, а где той, враг увнешний, ежели ты говоришь, что немец и австрияк или там хрэнцуз нам не враг.

— И у немцев есть богатые, они и есть наши враги. И кто бы сейчас ни победил—русские или немцы, или австрийцы—действующую армию, — все одно, лишь бы мир скорее. Понял ты?

— Ну и правильно. Ну, а ежели конец войне, то земли нам больше дадут?

— Землю самим надо отвоевать у помещиков. Сейчас главное — мир.

— А ну, тихо...

Курносый Башмакин приоткрыл дверь. Из хода сообщения донесся слабый звон шпор.

— Ребята, разойдись, поручик Замбор по окопам ходят.

Второпях Ерыга опрокинул котелок с давно пригоревшей кашей.

— А ну его в болото. Тихо, ребята...  
Расходись помаленьку.

Еще суровее стали январские дни. Все больше обмораживались люди.

Солдат отправляли с ужасающей гангреной ног.

Меня вызвали в штаб полка. Полковой адъютант распечатал конверт и достал оттуда георгиевский крест четвертой степени.

...За проявленную храбрость в бою под деревней Симки.

Не помню, как я выбежала из штаба. Все еще слышались слова адъютанта: «За проявленную храбрость...» На дворе мороз, а мне жарко. В ходе сообщения я чуть не сбила с ног Иванова; он заметил мой крест, но ничего не сказал. Я снова почувствовала настоящий, январский мороз. Радость моя остыла. Лучше бы меня похвалил Иванов... Но он ушел... А Саша? А Трофим? У них нет креста. У Климыча есть два... У Черешенко есть один, а недавно он сказал: «За что заслужил-то их, хай им чертяка! Против своего брата, крестьянина, воевал!» Я уже не бежала больше. Я шла с чувством досады и горечи.

В землянке сидел Ерыга.

— Зин, ты теперь к своим езжай, покажись с крестом-то.

Но мне уже было все равно, я спрятала болтающийся крест в карман гимнастерки.



Ерыга подарил мне полевую немецкую сумку. Он уговаривал меня съездить домой:

— Да ты не бойся, тебе теперь выдадут документы, и ежели захочешь, приедешь к нам обратно. Мы и сами скоро по домам пойдем. Вот увидишь.

Меня вдруг потянуло домой, мне хотелось много им сказать, и пусть они на меня посмотрят, какая я теперь стала. Я вернусь сюда.

## *Глава девятая*

**В** сумке Ерыги лежат мои документы: отпускной билет и литер на обратный проезд в действующую армию.

Я еду домой.

На станции Жмеринка я отправилась в зал первого класса.

— Не полагается нижним чинам входить в зал первого класса.

— Я с фронта.

— Не полагается, отойди, говорят тебе, — меня толкнул какой-то офицер.

Я ушла. А сколько было желания показаться в зале: пусть бы посмотрели, что я девушка, а была на войне. Но меня грубо не пустили, и им было все равно: с фронта я или не с фронта.

В Брянске поезд задержался на сутки. В зале третьего класса сидели солдаты, облокотясь о стенки. Там же примостилась женщина с ребенком.

— Слушай: может, ты из действующей? Чи не бачил ли ты моего Николая? Сгинул здесь.

Женщина вздохнула и снова спросила:  
— Ни? Не бачил? Сгинул десь. Нема.

Многочисленные составы поездов загро-  
моздили путь. Из санитарного вагона вы-  
сунулись сестры. Они пригласили меня к  
себе.

— Скажи, а на передовой линии люди,  
наверное, добрее, чем здесь? У нас все  
время кутежи, а на нас, сестер, так уж  
смотрят: а, сестра; ну, значит, с ней все  
можно позволить. Я побывала в трех ла-  
заретах прифронтной линии,— везде одно  
и то же. Недавно в меня брызнул вином  
офицер, я дала ему оплеуху, а меня уво-  
лили из госпиталя. А дома больные стари-  
ки. У отца крошечная пенсия.

Живи, пока живется,  
И пой, пока поется,  
Ведь в жизни  
Живем мы, живем мы,  
Живем лишь только раз... —

запела вибрирующим голосом другая се-  
стра.

Я попрощалась с сестрами и побрела  
вдоль санитарного поезда. Санитары вы-  
гружали раненых. Пронесли немецкого  
лейтенанта, раненного в грудь. Дыхание с  
присвистом вырывалось из его легких.

Под сильными винными парами, еле пе-  
редвигая ноги, по перрону шли жандарм-  
ский ротмистр и молодой корнет. Они под-  
ходили к санитарному поезду.



Офицеры задержались на минуту возле лейтенанта, отошли несколько шагов и снова вернулись. Хмель откинул назад корпус корнета, словно он переломился.

— Хрипит, свинья!

И резким пинком толкнул немца.

В одно мгновение вскочил раненый лейтенант, оставляя на холсте носилок огромный кровавый след. Лихорадочным блеском горели его глаза. Прозрачное восковое лицо дрожало конвульсиями. Высоко поднимая ногу, размеренным немецким шагом, с поднятой головой, он прошел мимо пьяных офицеров.

Санитары с носилками, вобрав головы в плечи и озираясь на офицеров, тихо обмолвились:

— Собака — и та никогда лежачего не тронет.

Ротмистр и корнет, перебросившись каким-то неестественным смешком, удалились к вагону сестер, откуда доносилось громкое пение:

Черные гусары, марш вперед!  
Труба зовет, марш вперед!  
Эх, наливайте чары,  
Черные гусары..  
Смерть вас ждет,  
Труба зовет..

Долго тянулась ночь. Рано-рано двинулся поезд. Путь запорошило снегом. Еще

спали в деревнях. Кое-где тускло мерцали в избах огоньки.

Полустанок. Сонная женщина в полубудке, высоко подняв выцветший зеленый флажок, пропускает поезд. Девочка тянет ее за юбку. Черная собачонка возмущенно отбрасывает задними лапами комья снега. Толкая друг друга, раскачиваются давно замерзшие подсолнухи. Я вижу из окна последний вагон и вижу женщину. Она вяло опустила флажок и ушла к маленькой будке, одиноко стоящей среди снежного поля.

Уходили вдаль пустынные проселочные дороги. Деревенские избы исчезали за буграми. Качались маленькие ели, вспугнутые паровозом.

Солнце прорвалось через зимнюю мглу, озаряя розово-радостным светом новый день.

Поезд остановился.

Я выпрыгнула на знакомый перрон казанского вокзала.

Рябая клячонка старого извозчика потащила меня в Адмиралтейскую слободу. Мне казалось, что я никогда не доберусь домой.

Извозчик, размахивая кнутом, поглядывал в мою сторону и ухмылялся:

— Мамашу вашу знаю. Братца вашего, царство ему небесное, знавал. Он с моим Ваней в гимназиях вместе учились. Демь-

ян Алексеевич, учитель географии, построили моего Ваню к бесплатному учению. Очень способный мой Ваня до учения. Тпру... стой, неугомонная! Вот здесь и Крамские живут. На чаек, с вашей милости, на радостях свиданьица, пожалуйста. Овес ноне во какой дорогой! Высокая цена на овес, — извозчик высоко поднял кнутовище и привстал с козел.

Я отыскивала у себя в вещевом мешке маленький узелок. Руки мои дрожали от нетерпения увидеть родных. В узелке хранились памятные для меня серебряные пяточки, — мой выигрыш в окопах, где мы играли в юрел и решку. Я отдала извозчику пяточки.

Долго простояв на нашем крыльце, я не решалась позвонить. Наконец поднялась на носках и нажала кнопку. Знакомые быстрые шажки Валькиных ног застучали по лестнице.

— Кто там?

— Валя, открой! Свои.

Валька повисла у меня на шее. Мать не выпускала из объятий, крепко прижимая меня к себе. Она щупала мои волосы, лицо и снова притягивала к себе. Отец крепко и много раз поцеловал. Старая нянька заливалась слезами. Дома было тихо и тепло-тепло. Старый пес Тобик долго принюхивался ко мне и наконец успокоился у моих ног.



— Зинаидища-то наша какой герой, какой герой! — Отец ходил из угла в угол и дымил своей большой трубкой.

— Сядь, говорю тебе, сядь, — мать просила отца не ходить, пододвинулась ко мне и снова прижала к себе.

— Да не ходи ты, не стучи, — просила она снова. Может быть, ей хотелось слышать даже биение моего сердца, а шаги отца мешали ей.

— Соскучилась я о тебе. Родная ты моя.

Отец наклонился, поправил мой крест.

— Зина, а за что у тебя крест? — любопытствовала Валька.

— Мой Ульяныч, бывало, какие страсти про войну турецкую рассказывал. А ты неужли не побоялась на зверство немчуров попасть? Времена-то какие! Девочка солдатом заделалась.

— Зина, смотри, сколько у меня птиц. Идем, покажу всех. Вот, смотри, это чижик Яшка, это снегирь Спиридон, а это синичка, Ганькой зовут. Мама, да отпусти ты ее в самом деле. Она же больше никуда не уйдет.

\*

В доме запахло праздничными пряниками и тортом.

В коридоре над большим сундуком стоял отец. Аромат ванили, корицы и табач-

ного дыма отцовской трубки напомнил мне генерала Мичволодова. От него тоже так пряно пахло.

Мать достала из сундука парадный сюртук отца.

— Пойдем, Зина, в собор, порадуй старика.

Я туго подтянула поясом шинель, надела на плечи башлык и надвинула папаху. Отец наклонился и поправил мой крест, протерев его носовым платком.

— Пошли, дочка.

Стуча костылями о каменные плиты, пробирался в церковь солдат. Две старухи в бархатных ротондах, в чепцах с фиалками, едва прикрывавших макушку, вышли из церкви. Они чуть не упали, увидев меня:

— Мадмазель Крамская, — солдат...

Я громко рассмеялась. Отец строго посмотрел на меня. Нищие расступились перед нами; удивленные, они опустили протянутые за подаванием руки и зашептали вслед.

В храме отбивали поклоны за «убиенных воинов», хор надрывался в бесконечном «господи помилуй, господи помилуй». Раскачивая кадилом, мимо прошел дьякон. Он точно лебезил ладаном перед иконами.

Я сказала отцу:

— Идем. Хватит. Надоело здесь. Я хочу домой.

Мне вдруг стало тесно от запаха ладана; купольная громада придавила меня своей тяжестью. Я потянула отца за рукав.

Нехотя он вышел из церкви. У ворот я встретила нашего дворника. Он еще больше постарел. Я поздоровалась с ним, пожав ему руку.

— Митя твой вернулся? Нет?

— Нет. Где там. Оттуда разве вырвется.

— Ты заходи к нам. А может, сейчас пойдем?

Дворник нерешительно посмотрел на отца.

— Потом зайду.

— Зина, я жду тебя. Идем.

— Я забегу к тебе. Поговорим. Я все расскажу, как там.

Отец шел со мной молча. Он позвал извозчика. Мы поехали по Грузинской улице. Необыкновенный шум наполнял город.

Окруженная надзирателями, по дороге к Арскому полю шла толпа людей. Одни шли, кутаясь в серые халаты, другие раскрывали грудь, вытирали со лба пот, словно им было жарко, как в день июльской истомы. Иные боязливо озирались, глядя на прохожих, высматривали кого-то. И то плакали, словно дети, то неистово хохотали. Сверкали глаза молодой женщины, ее щеки пылали. Лицо улычиво-нежное. Она крепко прижала к своей груди сверток каких-то тряпок.



Баю-бай, баюшки...  
Спи, усни,  
Мой родной...

Тихо лилась песня ее бархатного контральто.

Шла толпа безумных, эвакуированных из Варшавы в Казань.

Сзади в облупленных каретах везли буйнопомешанных. Оттуда вырывался вопль. Толпа остановилась. Зажглись огни в окнах психиатрической больницы «скорбящей божьей матери». Распахнулись чугунные ворота.

\*

Все ушли. Я осталась одна в квартире. Уютная тишина пугала. Валькины птицы стучали коготками о проволоку клеток. Мурлыкал рыжий кот Петька, сладко похрапывал старый пес Тобик. Мерно раскачивался маятник стенных часов. Мне вдруг захотелось переставить здесь все по-новому, сдвинуть всю мебель, оборвать цветы, все передвинуть вверх тормашками. Я соскочила с дивана, подбежала к часам, с силой толкнула маятник, высоко закинула занавески, разбудила кота, растолкала Тобика. Двинула ногой качалку. Затрезвонила на Валькиной гитаре, играя на ней, как на балалайке. Тобик залаял, кот поднял хвост трубой, прыгнул на шкаф, оттуда с

грохотом упала пачка старинных вальсов. Собака расшвыряла ноты.

Все пришло в движение.

— Что за шум?— вернулся отец. Он поправил пенсне, подошел к часам и остановил их.

— Ноты упали, сейчас подберу.

— Я освободился, давай побеседуем. Расскажи мне, как там, на войне. Познакомилась ли с нашими офицерами? Кто командует вашей дивизией? Я читал о 19-й дивизии.

— Генерал Мичволодов. Видела его однажды.

— У него, наверное, много наград?

— Не знаю. На передовой линии генералов не видела.

— Конечно, в бой должны идти солдаты. Их много.

— Но ведь генералам нужна эта война, а не солдатам.

— Как это не солдатам? А родина, а отечество?

— Народ беднеет еще больше от этой войны. И ничего хорошего не видит. Разве ты не знаешь, что война нужна богатым? Разве ты не знаешь, что и у немцев и у австрийцев есть богачи, которые заставляют воевать людей для своей пользы.

— Кто вбил такую дурь тебе в голову?

— Если бы ты видел все...

— Что все?

— А зачем Замбор бьет солдат?

— Очевидно, упрямятся в чем-либо. Ополченцы, например, мы слышали, только под плеткой идут в бой. А кто будет защищать родину? И кто такой поручик Замбор? Ты с ним знакома? Он, наверное, очень боевой офицер?

— У Замбора под Киевом большое имение. Он командует пулеметчиками.

— О, это, должно быть, боевой офицер, — он стоит у пулеметов?

— Ерыга у пулемета и другие. А не он.

— А кто это Ерыга? Какая-то некрасивая фамилия.

— Ерыга — мой хороший знакомый.

Отец пожал плечами и недоумевающе посмотрел на меня. В коридоре задребезжал звонок. Я открыла дверь. Вошел акцизный чиновник.

— Ах, как это замечательно: ваша Зина — герой.

— А-в-а-н-т-ю-р-а!.. Я теперь вижу, что это а-в-а-н-тю-р-р-р-а... молодости, Иван Спиридонович, — сердито сказал отец.

Я захлопнула за ним дверь и вышла. Я громко передразнила отца и быстро заговорила, сбегая по лестнице:

— Авантю-р-р-р-р-р-р-а... авантюра.

Дверь приоткрылась; я слышала, как Иван Спиридонович говорил отцу:

— Слыхали, Константин Константинович? В Питере неспокойно. Маршевики от-



казались на фронт выступать. Подумайте, что творится.

\*

— Ты мне про главное-то не сказала: что говорят там про войну, скоро ли она кончится? Не дождусь я Васьки. А?

— Зина, Зиночка, папаша вас спрашивают.

Алексевнушка стояла посредине двора, Валя ждала меня на крыльце.

— Ты где была?

— У Петра Семеновича.

— Что у тебя за знакомство с дворником? Сколько времени не была с матерью и часами просиживаешь в дворницкой.

— От Васи известия нет.

— От какого Васи?

Я посмотрела на отца. Мне хотелось крикнуть ему на весь двор, на всю квартиру, чтобы он понял наконец, расслышал горе старого Петра Семеновича.

Вечером, бросившись на кровать, я делалась с матерью:

— Мама! Пойми меня, я не могу больше так жить. Я с вами, с отцом, с Валькой, но вы ничего не понимаете. Вы свои, но ужасно какие-то далекие, чужие.

— Господи, что же это такое? Я врача позову. Ты бредишь, у тебя температура.

— Никакой температуры. Не надо доктора. Я здорова. Мама, пойми меня!

Я отвечала сама себе на тысячу вопросов, а мать сидела и прикладывала мне холодные, никому совершенно не нужные компрессы.

Я долго не могла уснуть на этих взбитых матерью мягких и еще детских перинах. Утром я подняла голову с мокрой от слез подушки.

Днем собрались гости. На стол подали горячие блины. Сухая, чопорная мадам Вольф, начальница гимназии, два чиновника с женами и учитель математики. Тут же сидел неизменный Валькин учитель, — черный, гривастый студент Иннокентий.

— Константин Константинович, ваша Зина, и вдруг — зольдатен... Все-таки это нескромно...—Мадам Вольф опустила лорнетку. — Она больше не пойдет на войну. Что это за шутки: девушка и — зольдатен. Фантазии...

— Молодость... молодость... авантюра, — поправляя пенсне, отец снова посмотрел на меня недружелюбно.

— Нет, что вы, она ж герой, — вставил свое слово акцизный чиновник.

В коридоре зашаркала Алексевнушка. Не снимая с себя шубы, в комнату вбежал товарищ прокурора, Кунев Иван Максимович.

— Извините, я на минутку. Какие новости: Распутина убили. И говорят...

Кунев что-то шепнул отцу на ухо.

— Конец российскому властителю и наконец-то, — студент Иннокентий встал и вышел из комнаты.

— Ч-т-о-о-о?.. — приподымаясь со своего стула, мадам Вольф закатила глаза под потолок.

— Я побегу дальше. Дела, знаете ли, дела!

— Покушайте блинов, Иван Максимович. Хотя еще не масленица, но все равно недалеко, — усиленно предлагала мать, но Кунев уже умчался.

— Какая вольность, какие времена! Вот, на-днях я нашла вот это, вот это... Пожалуйста, прочитайте... Это в стенах моей гимназии. Я подозреваю брата одной девицы, он вольноопределяющийся. Вот эта бумажка.

Отец читал:

В столице — там звон шпор  
В дверях шантана,  
А здесь в окопах — вой  
Свинцового шайтана.

Там генерал красоту  
Обнимает.  
А здесь солдат чесотку  
Матом покрывает...

Министры там карманы  
Набивают,  
А здесь солдат  
Слезой раны  
Омывает.



В салонах там  
Распутинский  
Дебош,  
А здесь, в окопах,  
Всех одолевает вошь...

— Да. Это свобода слова. Это чорт знает, чем занимается молодежь,— акцизный чиновник громко сморкнулся.

Снова в дверях показалась Алексеvнушка.

— Зинушка, тебя солдатик спрашивают.

Гости насторожились. Мадам Вольф заерзала на стуле. Я зацепилась за ее стул, отец вдогонку кричал:

— Даже не извинилась перед мадам...

На кухне, у Алексеvнушкиной кровати, перебирая в руках складки ситцевого пологa, сидел осунувшийся и постаревший Климыч.

— Проездом я, Зина. У Ерыги взял твой адресок. Был легко раненый, ну и домой завернул на денек-другой. Отпустил меня доктор. Теперь на фронт еду.

Я обняла Василия Климыча. Стоявшая сзади Алексеvнушка не выдержала:

— Маменька-то что скажут? С солдатом целуешься. Посрамись, Зинушка.

Я потянула Климыча и повела в столовую.

— Мама, это Василий Климыч, мой гость. Садись, Климыч.

Василий Климыч поздоровался с гостями.

Мадам Вольф протянула ему два пальца, и я видела, как она спрятала пальцы под скатерть, тихонько вынула кружевной платочек и вытерла руку. Валька пододвинула Климычу блины. Отец усиленно дымил трубкой. Алексеvнушка стояла в дверях, перебирая пальцами; губы ее что-то шептали.

Молчание нарушила мать.

— На фронт следуете или с фронта?

— Из дому еду. Проведал их. В деревнях-то скупятся на письма. Раненый был. С дочкой вашей не раз под огнем сжижвали.

— Скажите, пожалуйста, что у вас в деревне говорят вообще?

— Да так, что к тому идет — воевать не будут. Против своего брата кровь проливаем. А вот насчет господ...

— А вы, зольдатен, на войну едете? — перебила Климыча мадам Вольф и, заискивающе улыбаясь, наклонила к нему свою голову.

— На фронт еду, кончать будем войну. Вот с Зиной-то мы не раз на брюхе под проволочные заграждения ползали...

— На б-р-ю-х-е... ах...

Вольф резко отодвинула стул, гости заволновались. Мать уговаривала Вольф посидеть еще, но все быстро стали расходиться. Сзади, быстро семеня ногами, шла Алексеvнушка.

Мы остались с Климычем вдвоём.

— Зина, время теперь подошло горячее. На фронт ехать надо. Я сегодня был в запасном полку; велят криком кричать, чтоб войну бросали. Обнищал народ. Сил боле нет. Пускай баре дерутся.— И ласково Климыч сказал:— Сестрица твоя хорошая, мамаша симпатичные, а папаша малость хмуры.

— Климыч, ты останься у нас.

— Нет, Зина, я пойду. В трактире меня брат ждет, утром снова в полк сходим, там земляки у нас, и поговорить надо. Ты, Зина, езжай со мной в действующую. Дела будут. Неужели ты теперь будешь в кисеях у маменьки сидеть? Гришку-то Распутина, соспальника царицы, убили.

— Я поеду, Климыч. Поеду я.

— Выпейте еще чайку, — предложил отец, вернувшийся вместе с матерью.

— Нет, спасибо. Закурить не желаете ли?— Климыч провел ногтем по папиросной коробке, на которой был изображен Кузьма Крючков.

— Благодарю вас, я трубку курю.

Мы вышли с Валею проводить Климыча. Отца и матери не было.

— Какая у вас большая борода.

— А у вас, барышня, косичка большая,— улыбнулся Климыч.

Я вышла за дверь, Алексевнушка тянула меня за руку:



— Закройся, простудишься. Ишь дверь-то распахнул, лохматый!

— С характером старуха. Ну, иди, Зина. Собирайся. Завтра поедem. Чего долго-то раздумывать.

\*

В этот вечер мать до поздней ночи сидела у меня на постели.

— Мама, я снова хочу ехать на фронт.

— Что ты говоришь, Зина! Не дай, господи! Сейчас беспокойное время,— слышала, что говорят? Ты погибнешь там. Что ты еще придумала?

— Не проси меня, мама, мне тяжело здесь, я не могу больше так жить, я уже сказала тебе. Я сжилась с солдатами, и мне здесь плохо. Не знаю, почему, только тут я не останусь.

Мать вся прижалась ко мне, я с трудом оторвала ее от себя. Она цеплялась за меня, плакала. Сбежались домашние. Валька брызгала на мать водой из графина.

— Злая ты, Зина. Вот что я тебе скажу...

— Не злая я, Валька. Ты ничего не понимаешь.

Долгие часы я просидела в кабинете отца. Он возился за дверью, утешая мать, ей давали лекарства, брызгали на нее водой, а я... в эти минуты мне не было жаль ма-

тери. Все ее слезы казались мне ненужными и лишними. Я твердо решила ехать с Климычем.

...«Сашка теперь нужный здесь...» — вспомнились мне слова Иванова. Может быть, нынче Иванов сам бы позвал меня.

Поеду я. И словно волна подхватила и захлеснула всю необыкновенной радостью.

Я спешила. Мне некогда было заглянуть к матери. Мне казалось, что они все стали сейчас страшно маленькими, а я старше их всех, — и стыдно было за отца, что он такой маленький. Что он такой, в то же время большой и старый, и не мог понять меня. Вся наша квартира сжалась, съежилась и уплывала далеко-далеко...

С нетерпением я ждала утра. Чуть проснулся свет, я вышла на крыльцо.

За воротами проскрипели полозья саней. Лошади тащились, покрытые инеем.

Крепкий февральский мороз захватывал дыхание. В доме горели огни. Но там все успокоилось сном.

В кухне я прошла мимо Алексеvнушки, сложила все вещи и приготовилась к отъезду. За завтраком все сидели молча. Валя засыпала корм птицам. Не глядя в глаза друг другу, все встали и разбрелись по своим углам. Алексеvнушка попрежнему села у окна вязать чулок.

Солнце ворвалось в комнату и снова ушло за косматые, снежные облака. Тоскующе завыл ветер. На улице поднялась снежная пыль. Белая вуаль затянула окна.

Стряхивая снег с шинели, Климыч вошел в кухню.

— Вот калачей сколько надавали. На дорогу хватит и туда привезем.

— Это что ж такое? Мы тебя за хорошего человека приняли, а ты смутьян какой-то оказался. Зачем дочь смущаешь?

Отец громко двинул кухонную табуретку и подошел к Климычу.

— За угощение спасибо. А вот вы, барин, не очень-то уж на кипяток берите. Не велики страсти. Зина-то — она сама все решит. Не маленькая. Сама сознание имеет.

— Не пушу ее никуда. Слышишь ты?

Отец хлопнул дверью.

— Тятка, Зин, один, а народу миллен, вот тут ты и решай сама.

— Иди, Климыч, а на вокзале жди меня.

\*

Прошел час, а может быть, и больше. Отец успокоился и ходил довольный; он не заговаривал со мной, но ему казалось, что я раздумала уходить из дома. Все рано легли спать.



Не захватив с собой вещевого мешка, перекинув через плечо ремень Ерыгиной сумки, я быстро оделась. Папаху натянула до самых кончиков ушей.

Сквозь крутанину метелицы словно волчьи глаза светились зажженные фонари в затоне Болги.

Февральский ветер подхлестывал полы моей шинели. Ноги тонули в сугробах снега. Тусклый отблеск фонарей на дамбе искрил снег.

Мимо промчалась тройка. Громада кучера генерала Сандецкого, отдаляясь, стала едва видимым силуэтом. Словно черный колпак, железнодорожная будка становилась все ясней и ясней.

Вокзал. Перронная суета. Климыч у вагона. Гудок паровоза. Печаль прощания, и снова мерный стук вагонных колес.

## Глава десятая

**В** Тарнополе, пройдя шумной привокзальной улицей, мы пошли к этапному коменданту. Там узнали о местопребывании наших частей и, миновав площадь Яна Собесского, догнали обоз.

По дороге на Бучач шли подводы с сеном. Мы попросили фуражира подвезти нас до Монасторжистка.

Я замерзла на подводе.

— Не доеду. Пожалуй, замерзну.

— Я тебе вот так скажу: полезай-ка ты сюда, от ветра будет защита,— ездовой разгреб тюк сена, я залезла в ямку и там укрылась от студеного ветра.

— Ну, как?—спросил Климыч. — Не дует?

— Хорошо. На, возьми себе мой башлык.

Я задремала. Ездовой пел. Он пел близко, а голос его далеко уносил ветер.

Изба крохотна  
На долинушке,

В ней Дуняшка-краса  
Пестит сына своего.

Светлый день придет,  
На земле роса,  
Глаза Дунюшки  
Все глядят в окно ..

По дорожке пыль  
Невеселая...  
Тяжка в землю  
Зарыт,  
Не откликнется.

Голос оборвался. Подвода остановилась.

\*

— Глянь-ка, ребята, Зинка вернулась. И дома-то мало побыла.

Со мной здоровался Трофим, за ним подошли Черешенко и Запорожец.

Словно я залпом выпила стакан содовой воды,— заломило в переносице и подступили слезы. Поток хлынул на меня переживания последних дней. Вспомнились отец, мать, Алексеvнушка, Валя и почему-то старый пес Тобик, и страшный мороз в дороге.

— Прриии-е-х-а-лл-а я, о-п-я-ть приеха-ла...— Еле выговаривая, я разревелась.

Подошел Ерыга. Я посмотрела на его тоненькую талию. Он придвинулся ко мне.

— Зин, Зина, чего ревешь-то? Обиду какую над тобой учинили или чего другое? Скажи.



Ерыга погладил меня по плечу, и не знаю отчего, но я еще громче заревела.

\*

По окопам разнеслась весть о свержении царя. Офицеры старались скрывать эту весть, всюду шептались, собираясь в блиндажи. Трофим крестился у дверей землянки.

— Что ж теперь будет?

— Что было — видели, а что будет — это еще поглядим.

— Теперь конец войне может выйти.

— Домой бы скорее. К чорту ее, войну эту.

— Здорово, ребята... Здравствуйте и вам.

— Сашка! Гусев! Саш!..

— Саша, чего это ты на «вы»?

— Ну, здравствуй. Так это я. Большая ты стала. Как бы не признал, выходит.

— Ну да, не признал.

— Здравствуй! — еще раз поздоровался со мной Гусев, и внезапно у Саши исчезла улыбка.

— Что воевать или не воевать — это еще как сказать. Просили вам передать, чтоб оружие не бросали здесь. А войну долой. Против немца больше не пойдем, против своего брата — рабочего не пойдем. Поняли?

— К чорту оружие. На кой оно ляд? Долой, и с тем до свидания.

— Чужое добро защищал, а свое не желаешь?

— Ну, ладно, не горячись больно-то, после поговорим.

Солдаты кольцом обступили Гусева.

\*

По утрам стояли туманы. Не надолго показывалось солнышко и снова тонуло в облаках.

В полдень рывкнула австрийская батарея, и у нас, в первом, разрушило землянку. У меня дрогнуло сердце.

— Саша. Где Сашка-то? Он туда пошел. — Ерыга потянул меня за гимнастерку, и мы побежали туда, где был разрыв.

Там уже откапывали людей. Вот показалась большая ступня Черешенко. На его грудь навалилась глыба земли.

— Це я, Петро. Узнаешь меня? Петро, ты выживешь, ей-бо, выживешь.

— Грицко, не чуешь хибя, як гарно співають?

Черешенко замолчал, и Запорожец больше не услышал его голоса.

Климьч мертв. Его открытый рот забит землей. Борода заклеена кровавой кашцей. Терехин взял руки Климьча и сложил их на груди. Я оттащила Ерыгу от земля-

ной стенки. Впереди нас несли Климыча. За носилками с непокрытыми головами шли Терехин и Запорожец.

Ерыга ушел в убежище. Я шла ходом сообщения. Шла так, не зная, куда иду. Кончились наши окопы. Меня остановили крымцы.

— К нам в гости пришла? Ну что ж, заходи. Ты чего-то никак перепугана?

В землянке пили чай. Хрустели сахаром. В углу сидел прапорщик. Его волосы были длинные, он хмурил брови, вытягивал сухую шею и тянулся к солонке. Он густо-густо посыпал солью черный хлеб. Напившись чаю, он вытер лицо полотенцем и забурчал под нос: *Gaudeamus igitur*. Я слышала этот мотив от Валькиного учителя Иннокентия.

— У нас Климыча убило. И Черешенко.

— Это кто ж такие?

— Люди нашего взвода.

— Ага, люди! Людей жаль. Очень жаль,— пробасил прапорщик, недружелюбно взглянув на другого офицера.

— Ну, ладно. Я пойду.

— Что ж так мало посидела?

— Так. Хожу по окопам. Скучно сейчас стало. Климыча нет. Черешенко нет.

Мне думалось, что этот длинноволосый прапорщик поймет меня.

— Анисов!—крикнул другой офицер.

— Так точно, я Анисов.



На пороге появился солдат в прожженной на боку шинели и с маленькими глазами на полном лице.

— Чудак ты, Анисов.

— Так точно, чудак я Анисов.

— Ну, так вот, ты согрел бы нам чайку. Понял?

— Понял Анисов.

Медленно я возвращалась в свою роту. Усталость и страшная тоска не оставляли меня весь день.

\*

Таял снег. Но земля еще не проснулась. На полях лежал чумазый снег. Ветер стал по-весеннему влажным. Мы сушили шинели. В окопах стояла испарина от солдатского сукна. Кожа на сапогах коробилась. С трудом натягивали сапоги. Вода лилась, проникая во все скважины и щели землянки.

Ерыга достал свою кружку для чая. Потянулся за ложкой. На лежанке у него сидела большая жаба.

— Ах ты сука. Сука и есть. Чего глазами хлопаешь? Ишь, где приют сыскала.

Ерыга отстегнул ремень, замахнулся было на жабу и, раздумав вдруг, тихонько толкнул ее кончиком ложки. Пятнастая не шелохнулась.

— Сидишь? Тебе от сырости раздолье, а у меня кости выламывает. Ну, сиди, места хватит.

— Трофим, ты чего задумался?— спросил Саша и отодвинулся немного от меня.

— Скука заела. В земле сижу, а по земле скучаю. Теперь бы домой, — скоро и пахать время. А ты тут сиди сиднем, как припаянный. Тоска берет. Может, и не дождешься конца. Климыча-то прикончило.

С потолка упали тяжелые весенние капли. Жабьим голосом закричала пятнастая. Трофим снова заговорил:

— Ну, вот велико дело: царя нет. А что толку-то? Все, как было.

— Сегодня опять горячий не подвезут. Ну и правду сказать, ног в лощине не вытянешь. Глина-то — она вязкая.

Окопы левого и правого флангов были расположены на возвышенном месте; к ним, в средину участка, беспрерывно шла вода. Спасаясь от воды, мы перебирались из одной землянки в другую.

— Кубанцы идут на смену.— Эту весть принес из обоза телефонист. До прихода смены оставались сутки. Вода лилась беспощадно. Под руководством капитана Крапивянского солдаты делали запруду. У стыка, где кончался первый батальон, люди сбрасывали с себя груз. Заработали лопатами, набрасывая землю. К вечеру была готова запруда. Беспрерывно мы выкачивали

воду. На следующий день, когда подошла смена и мы собрали вещи, приготовившись к выходу, неожиданно хлынула вода. Она устремилась по ходу сообщения, заполняя окопы.

— Чудаки, вот чудаки,— запруду нашу прорвали,— смеялся Крапивянский, хлюпая по воде.

В темноте мы вышли в лощину. Но и там было не легче. Размякшая глина втягивала ноги. словно по команде люди наклонялись поочередно то к одной, то к другой ноге, отрывая сапоги от глины. Ночь была темная. Люди стукались лбами друг о друга. Неистово ругались, а вдогонку немцы посылали шрапнель за шрапнелью.

— Чорт бы их побрал. Дали немцам занять командные высоты, а сами окопались в низине. Идиоты, безмозглые,— громко, не стесняясь, ругался Крапивянский. — Забрались бы повыше, обеим сторонам было бы легче.

При выходе из лощины пришлось итти чуть ли не по пояс в воде. Подполковник Кривдин кричал на Запорожца:

— Наклонись, сукин сын! Наклонись, галушка паршивая! Ну, подвези еще малость.

Запорожец шел по воде, пригнув голову. На его плечах, свесив ноги, сидел Кривдин. Крапивянский подошел сзади и дернул За-



порожца за шинель. Смелость капитана удивила всех. Запорожец споткнулся, и Кривдин упал в воду. Он долго барахтался в луже. Люди собрались вокруг него, и никто не помогал ему выйти из воды.

— Я вам покажу, я вас под арест отдам.

— А с кем воевать будешь?— раздался голос из темноты.—Поездил на солдатском горбу. Хватит.

Капитан Крапивянский шутил всю дорогу, а Кривдин бессильно карабкался, попадая из одной ямы в другую.

\*

Солнце няньчило поля. Какие-то дальние напевы птиц нежили лес. В этот весенний день Саша пришел к нам веселый, с большим красным бантом на груди. Солдаты встретили Сашку с понурыми головами.

— Ну и ривалюция, а что из этого? Отпусков нету. Пища не улучшается. Раз ривалюция, должны во всем нас спрашивать.

— Зачем войну не прикончат? Мир надо объявить.

— Товарищи! Прошу слушать,— Сашка влез на бревно.— Товарищи, в 12-й дивизии немцы братаются с нашими. Ура, товарищи!

— Ура! Ура! Брататься!

Ерыга высоко подбросил фуражку, Те-

рехин перекрестился. Я смотрела на Сашу, мне было весело и хорошо. И день был над нами такой светлый-светлый.

— Товарищ Зина!

Я оглянулась. В эти минуты мне показалось, что солнце стало ярче, поглубело небо и весенний день запел радостную, звонкую песню.

— Товарищ Зина! — снова окликнул меня Иванов.

Впервые он подошел ко мне с этим обращением. Впервые я ответила ему так же просто, как он.

— Идем завтра брататься к немцам. И Сашка пойдет.

— И я тоже, — подскочил Ерыга, подтягивая ремень на последнюю дырочку.

Саша соскочил с бревен, подошел к нам. Мы отправились в хату.

— Прими вот подарочек, так сказать. — Саша вынул из кармана чуть увядшие подснежники.

— Весной-то всяк человек млеет, — улыбнулся Саше Трофим.

— А ты, Трофим, как?

— Я что ж? Я ничего. Пахать бы сейчас время.

\*

Вестовой командира полка жаловался нам на своего командира:

— Тащу ему этот ёд и тащу. Лакает он

его и лакает. «Для крепости, говорит, организма пью». Вчерась позвал к себе Дубело и опять передал через него всякие тючки для Галинки. А Дубело и говорит Галинке: «Не перечь, девка, командиру, одарит он тебя».

...Высечь велю, куда полез, подлец! Не тронь ее...

На дворе Дубело тащил за руку Галинку, хозяйскую дочку. Девушка упиралась, плакала и царапала руки Дубело. Капитан Крапивянский кричал:

— Отпусти, говорю!

— Вашблагородь, вас командир полка требуют.

— Зина, ты поди с Ерыгой послушай, чего у них там будет.

Мы приблизились с Ерыгой к окошку Плахова. Я расслышала слова Плахова:

— Вы молодой капитан. Как вы смели?

Мы видим, как Плахов надвигается на капитана, Крапивянский взялся за эфес шашки.

— В чем дело, господин полковник? Я не понимаю, зачем вы меня вызывали, вы скажите все своими словами,— подтрунивал Крапивянский.

— Какое вы имеете право? Как вы смее? — Плахов крепко сжал свой посох.

— Я не понимаю вас, господин полковник. Я угрожал полицейскому, но вы скажите, за что?



— Я вам приказываю замолчать. Уходите.

Крапивянский повернулся и ушел. Мы отстранились от оконной рамы. Слышно было, как быстро уходил капитан.

— Ну, ты подумай, Мельников, у него нехватило храбрости признаться, за что он на меня кричал. Так и не сказал, блудливый дьявол.

Вечером, когда все собрались у церковной ограды, отплясывая под гармошку, Галинка вышла на середину и павой прошла с Ерыгой. Потом заплясала, закружила длинной черной косой кавалера.

Мы стояли рядом с Сашей. Мимо прошли офицеры; они искоса посмотрели на меня.

\*

На фронте тихо. Солдаты обеих сторон не стреляют. Несколько человек ходят по верху траверса. В четвертой роте сидят австрийцы. Один из них угощает Трофима ромом. Трофим хлебнул глоток и вытер бороду.

— Хорош. Сладкий. Спасибо.

Австриец отгрыз кончик сигары и предложил ее Ерыге. Ерыга потянул сигару и закашлялся.

— Ух, крепкая, до чорта крепкая.

Австрийцы смеялись. Но в их смехе не чувствовалось насмешки над Ерыгой, они

смеялись искренне, показывали на тоненькую талию Ерыги, делая большим и указательным пальцем кружок:

— Как рюмочка!

— Безобразия! Безобразия!.. Брататься?! Разойдись! Немедленно разойдись! Разойдись, сукиного сына! — пищал Кривдин.

Никто не слушал подполковника. То тут, то там появлялись в окопах австрийцы.

К вечеру мы отправились на левый фланг; там против нас была позиция немцев.

В отлично оборудованном блиндаже нас уже ждали. Здесь приготовили какао. Хлеба не было. Мы грызли галеты. На секунду воцарилось молчание. Затем с постели, покрытой коричневым байковым одеялом, поднялся толстый немец. Он достал фотографический аппарат и приготовился нас снимать. Его взгляд остановился на мне.

— Почему вы здесь, в окопах, а не за мужем?

Немец тщательно разгладил свои повильгельмовски приподнятые вверх усы и предложил мне конфетку.

— Вы были в боях? Да? О! Я читал про таких девушек. Пожалуйста, станьте сюда. Я снимаю.

— Очень хорошо. Очень хорошо, — поблагодарил меня немец.

— Почему ваши вчера стреляли? Не

годится стрелять в своих. Разве вы не понимаете, что эти русские,— я показала на Сашу, Ерыгу и других солдат,— тоже рабочие и крестьяне?

— О!—Немец посмотрел на меня и широко-широко раскрыл глаза. Другой молодой немец подошел к двери и прислушался. Потом, убедившись, что там никого нет, одобрительно закивал головой.

Я уже не могла сдержать себя. Я впервые так говорила:

— Надо бросать войну. Не стреляйте больше в своих. У вас, там, есть настоящие враги.

— Богатые у вас есть, они ваши враги, против них надо воевать,— добавил Гусев, а сам с довольной и веселой улыбкой смотрел на меня.

— У вас полковые комитеты есть?— спросил молодой немец.

— А почему они не кончают войну?— спросил другой.

— Потому что у нас, так же как и у вас, есть генералы, они хотят войны до конца.

Раздался гневный и короткий окрик:

— По местам!

Немцы бросились к винтовкам и выбирали в ход сообщения. Только толстый немец задержался и пропустил меня вперед.

Послышались отдельные выстрелы на правом фланге.



— Идем, ребята, к себе, — Саша взял меня за руку.

— Что ж теперь делать. Ведь война-то не кончилась. Слышь, стреляют.

Ерыга поднялся наверх. За ним полезла я. Саша влез на траверс, из кармана у него выпала газета. Немец поднял ее и развернул. На ней было напечатано: «О к о п н а я п р а в д а»...

Над головой просвистела пуля. И опять тишина...

## *Глава одиннадцатая*

Ставропольцы заняли позицию в районе Станиславова.

На костельном дворе сдвинули десятки скамеек. Столы накрыли скатертями, принесли посуду ксендза. Из Станиславова привезли вино. Командир полка, опираясь на свою дубину, оглаживая козлиную бородку, пригласил офицеров к столу. Наполнились рюмки, стаканы. Офицеры произносили речи. Пили за здоровье министров Временного правительства. Прокричали «ура» Керенскому. Туш заглушал крики: «Да здравствует доблестное командование русской армии!» Лилось вино за здоровье полковника Плахова.

На табуретке, пододвинутой к углу стола, сидел председатель полкового комитета солдат Иванов.

— Слово предоставляется Иванову.

Иванов встал:

— У меня имеется вопрос к господам офицерам. Тут говорили всякие речи. Все

это мы слышали. А почему господа офицеры не прокричали, например, ура полковым комитетам?

Иванов вытер пот со лба и угрюмый сел на свое место.

Никто ему не отвечал.

Через минуту подполковник Кривдин предложил тост «за защиту свободы, за войну до победного конца».

\*

На улице грохотала артиллерия. Несколько дней с утра и до вечера двигались тяжелые и легкие батареи. Подвозили огромное количество снарядов. Говорили о наступлении в районе Станиславова. Жители рассказывали, что они за всю войну не видели столько «грамат» — орудий. На Сапежинской улице я видела гарцующий полк дикой дивизии. Приехавший из штаба дивизии связной привез новость: со дня на день ждут приезда военного министра Керенского. О нем говорили, будто он «красиво произносит речи» и будет выступать в Станиславове.

В комнате у меня тускло горела лампа. Разбитое стекло было заклеено бумагой. Лампа коптила. Я открыла окно.

Цвела сирень. В теплую ночь молодого лета упала яркая звезда.

Осторожно ступая, к окну подошел Саша.



— Здравствуй!

— Зина, голубушка...

Зарозовел нежный цветень сада.

Саша уходил от меня по дорожке. Над его русской головой курилась пыль рассвета.

Это было в полдень. Выстроившееся карре солдат напряженно ждало приезда военного министра.

Шум мотора. Машина остановилась на улице Сапегинского. По городу пронеслось «ура».

Керенский, заложив одну руку назад, другой облокотившись о трибуну, начал говорить. Говорил он долго. Долго уверял солдат в необходимости довести войну до победного конца. Он говорил о защите свободы. Называл солдат «орлами». Упомянул о том, что Временное правительство уверенно в победе русских войск, что станиславовское наступление будет последним и победным.

...И, одержав эту победу, мы будем близки к миру...

Многие солдаты слушали Керенского, разинув рты. Некоторые плакали.

Я видела лицо солдата, не успевающего подбирать слюну. И, когда словами: «тыл не отстанет от вас, тыл с вами» закончил свою речь министр, этот рядовой, быстро протиснувшись вперед, бросился к ногам Керенского. Я сидела на заборе, и мне было видно, как блестели на солнце коричневые краги Керенского и как лобызал их ху-

денький солдат с тремя Георгиями, иступленно выкрикивая: «Неужто ты за нас? Неужто будет мир?..»

После речи военного министра говорил генерал Брусилов. Лицо генерала с глубокой складкой на лбу было необычайно бледно. Начало его речи солдаты встретили громовым «ура». Генерал говорил недолго, он сказал только о том, что ему больно и тяжело терять веру в силу могучей русской армии. Последние слова Брусилова солдаты заглушили громким «ура».

Стоявший возле меня капитан Крапивянский шепнул Иванову:

— Смотри, сейчас будет говорить Альбер Тома. Послушаем француза.

Но капитан ошибся. Больше никто не говорил. Машина военного министра отбыла, подняв клубами пыль.

Солдаты все еще стояли и смотрели вслед министру. На многих лицах было такое выражение, словно им чего-то не договорили.

— А чего это министр ни слова нам от заводов не передал? От совета солдатских и рабочих депутатов?

\*

Ночь. Изредка щелкают затворы. По фронту шарит прожектор. В окопах тихий говор. В ходе сообщения не слышно звона шпор. Не проходит офицер.



Три солдата сидят на соломе. Четвертый поднимается с лежанки:

— Так, значит, и заявим полковому комитету: кончай войну, и никаких. Нечего красным словом людям голову крутить. Один тут сказ.

Саша встал в дверях. Поправил сброшенную на плечи шинель.

— Товарищи, воевать еще придется. За свои земли, за свой интерес. Товарищи, это еще не наша революция, мы еще должны, так сказать, разбить сперва-наперво генералов, попов, которые есть.

Саша передохнул, приподнял на двери палатку, прислушался.

— Временное правительство нас обманывает. Мы должны прикончить с министрами и поставить свою власть. Земля наша должна вся отойти в пользу крестьянства. А своя власть и будет кончать войну и стоять за мир. Я кончил, товарищи. Ура не кричу, потому здесь окопы.

— Правильно! Чего там? Правильно!

— Еще надо заявить полковому комитету, чтоб обкарнали руки полковнику Плахову. Довольно. Пиши заявление.

Голоса не умолкают. Светает.

\*

Подходил день штурма. День 18 июня. Дикий вой, гул и непрерывный грохот в



течение нескольких дней наполнял окрестности. Русская артиллерия забила размеренными ударами из тяжелых батарей. С рассветом открыли беглый огонь из трехдюмовок. Вслед заухали мортирки. Над головами в страшном гудении проносились тяжелые снаряды. В воздухе раскатывалась непрерывная дробь чугунного барабана. В шуме хаотических звуков человеческий голос был приглушенно тих, словно он вырывался из глубоких недр земли.

Вспыхнула деревня Ямница. Загорелось все небо.

В этом гигантском зареве замолкли на миг пушки. И снова, с утроенной силой, раздался удар. Полился поток свинца из разгоряченных пулеметов.

Скрежет человеческой боли. Тихий плач. И снова вой свинца.

Я вижу солдата Башмакина. Он бьется головой о землю. Тело дергается в конвульсиях. Иссякли силы.

— И-с-п-и-т-ь...

У меня в фляжке есть вода. Я делаю движение в сторону Башмакина. Над головой продребезжало. Гул тяжелого снаряда. Я впиваюсь в землю. Снова ползу в сторону Башмакина. Его глаза широко открыты; у его уха я вижу окровавленную дистанционную трубку; последними усилиями Башмакин освобождает руку из-под убитого солдата.

— Пей, пей еще, Башмакин.

Я лежу на боку и левой рукой даю ему воду. Кровь льется у него из носа. Он снова бьется головой о землю. Я не могу больше смотреть на его мучения, я громко рыдаю и тащу Башмакина; он вырывается у меня, корчась в страшной агонии.

Кто-то промчался мимо и грохнулся. Снаряды разрываются дальше. Я приподнимаюсь. Башмакин вытянулся. Он мертв.

На участке замурцев двигаются серо-голубые колонны. Это австрийцы сдаются в плен. Над ними голубоватыми клубами разрываются бризантные снаряды. Австрийская артиллерия бьет по своим отступающим частям. Австрийцы бросают оружие.

\*

— ...Са... ни... тар...—зовет раненый. Он сидит, раскинув ноги, голова его упала на грудь. Густые капли крови, не расплываясь, падают в смятую траву.

\*

Со стороны крымцев послышался шум машин. Пошли броневики. Они идут сюда. Все ближе и ближе. На подножках, с развернутыми знаменами, стоят ударники. На рукавах у них расшиты серебром и золотом шевроны — черепа и кости. Прямо на

них бежала группа наших отступающих солдат. Стоящий на подножке броневика офицер махнул шашкой. Раздались выстрелы. Солдаты, вскидывая руками, замертво упали.

— Говорили, не пойдут в бой, а сами по своим стреляют,— раненый приподнимается.

Я помогаю ему, я хочу помочь ему увидеть все.

— Это офицеры! Дай подыму тебя, — погляди сам. Ну, ложись теперь. Видишь, помогла перевязка, легче тебе стало.

— Легче. Может, и до дому сдюжаю. Это я замурцев видел, они не пошли против австрийцев. Мабудь, офицеры перебьют замурцев?

— Ты тихо. Не говори сейчас. Ты поспокойнее. Легче будет.

\*

После трехдневных боев части остановились под Калушем.

Утром мы узнали о взятии Калуша. Раненые рассказывали о погроме в городе.

— Кавалерия дикой дивизии, пьяные все, по городу носится. Нагайкой коню подсыпат, за бабами гонятся. А они, миленькие, так с моста и хлобысь в воду. Это, значит, они удирать взялись от всадников. Сколько баб перепорчено — ужась! И гал-



дит кавалерия, по улицам носится и, етта, по лавкам всюду бегают, и пьяные все, пьяные.

Саша ходил с подвязанной рукой. Его легко ранило. Мы не расставались с ним все эти дни.

— Скоро мы с тобой в Питер махнем. К Насте Ивановой поедem в гости. Скоро будет наша власть, вот посмотришь. Ты обожди меня здесь, я в штаб полка схожу.

Я осталась во дворе. Из огорода шел дед. Он нес кукурузу.

— Всю, чисто, помяли. Кавалерия вытоптала. Чем зимой будем кормиться?

Гурьбой прошли офицеры. Только Кривдин тащился сзади. Последнее время офицеры собирались группами и редко ходили в одиночку. Один из офицеров громко рассмеялся и сразу смолк. Они пошли быстрой беспокойной походкой.

Австрийцы бьют по шоссе, идущему в гору. Это единственный путь в случае отступления наших.

— Пристрелку делают. Не выберемcя мы отсюда. Ну-ка перевяжи мне, Зина.

Саша посмотрел на меня своими синими глазами; они были грустные-грустные.

Ночью прошли ударные части. Два офицера ворвались на перевязочный пункт и потребовали у врача кокаина.

Усталые врачи, едва успевавшие накладывать раненым повязки, возмущенно по-

просили ударников оставить пункт. Пьяный кавалерист толкнул доктора Морозова и бросился к фельдшеру.

Саша подошел к офицеру:

— Господин поручик. Доктор занятый, вы бы полегче.

— Отойди в сторону, куда лезешь? Офицеру не мешать.

— Я член полкового комитета, имею право.

— Член. Действия офицера проверять?

Поручик передразнил Гусева и расхохотался. Саша подошел к нему ближе. Смех офицера оборвался, словно он поперхнулся хохотом. Он порывисто запахнул бурку и ушел с перевязочного пункта.

## *Глава двенадцатая*

**О**блака нахлынули волной. Дождь пришел внезапно. Ветер донес свежесть леса и цветов. Березы стояли белые-белые. С их зеленых, гибких ветвей сбегали чистые капли дождя.

Ветер унес с собой тучи. Горячие солнечные лучи снова ворвались в день.

Мы собрались в школьном дворе. На груди кирпичей стоял капитан Крапивянский. Ему не давали говорить. Его речь прерывал прибывший из штаба корпуса и окруженный офицерами грузный полковник.

— Солдаты, преданные России, солдаты! Вам известен погром в Калуше. Вы теперь сами убедились, к чему ведет подрыв воинской дисциплины. Для окончания войны необходимо поднять дисциплину. Вернуть права господам офицерам. Упадок дисциплины привел к погрому... Необходимо...

— Не желаем слушать. Долой! Товарищ Крапивянский, говорите речь.



Крапивянский сдвинул со лба серую папаху, с которой не расставался даже в знойные дни лета. Его лицо было оранжевого цвета от южных ветров.

— Товарищи! Вы видели пьяных корниловцев, вы знаете о погроме в Калуше, вы видели ударников Корнилова, у которых было в кобурах по нескольку бутылок спирта. Товарищи, погром в Калуше был организован генералами. Офицеры нарочно спаивали солдат. Разнузданная, пьяная толпа грабила население. В Калуше насиловали девушек. Такое поведение солдат не могло пройти бесследно для солдат и населения Австрии. Высшее командование задалось целью спровоцировать революцию, спровоцировать наши полковые комитеты. Генералы хотят, чтобы полковые комитеты не принимали участия в управлении частями. К погрому велась подготовка. Товарищи, Временное правительство продолжает политику царской власти. Нам известно, что Временное правительство не отдает земли крестьянам, а держит их за помещиками, за генералами. Не поддавайтесь провокации, товарищи. Власть должна быть у пролетариата.

Крапивянский кончил свою речь.

Полковник, встав на сидение в машине, крикнул:

— Арестовать его! Большевик! Задер-

жать его, большевика! Офицера-изменника!

Оправляя на ходу свой красный бант, на грудь кирпичей взошел Саша.

— Товарищи! Верно говорил товарищ Крапивянский. Не слушайте офицеров. Кому она, война, нужна-то? — Офицерам. По всей России калеки ползают. Народ изувечили. Долой генералов! Долой офицерскую дисциплину! Ура полковым комитета! Довольно ихней войны! На генералов, товарищи...

Сзади Саши подошел Иванов и старался остановить его: «Не горячись, Саш, не горячись, говори спокойней...»

... на генералов, товарищи, теперь, на попов теперь!

— Сыпь вперед! — крикнул Ерыга.

Саша не умолкал:

— Долой генералов! За нашу свободу солдатскую, за свою свободу, ура!..

Из офицерской группы раздался тупой и короткий выстрел.

Он еще был жив...

Саша...

Он смотрел на нас синими глазами.

...Не надо, Сашенька... Не умирай...

— Ты его не трожь. Не трожь, Зина. Чего уж теперь.

— Чего же вы стоите? Чего смотрите, братцы, товарищи?! Нашего убили?! Чего стоите?!

Воздух наполнился заунывным свистом, улюлюканием, топотом тяжелых солдатских сапог, беспорядочной стрельбой.

— Держи их... Не пущай машину. Стой! стой! Скидывай погоны с них!

— Товарищи, прекратить беспорядок. Полковой комитет во всем разберется. Все равно не уйти им от нас. Эх, Саша... чужак ты, право...

...Это капитан Крапивянский наклонился над Сашей.

— Смертельно ранен. Остались секунды жизни.

Врач медленно снимает халат.

Почему он так медленно снимает свой халат... почему...

\*

Вечером, когда померкло небо, мы хоронили Сашу.

— На, возьми.

— Иванов, не могу я больше...

— От такого горя, Зина, люди крепчать должны. На, возьми.

Не выпуская руки Иванова, я взяла красный бант Саши.

— На, Зина, оботрись! Возьми платочек.

Ерыга вытер мне слезы. Иванов смотрел на свежевырытую могилу тяжелыми, угрюмыми глазами.

В деревне охнул разрыв снаряда.



— Ну, чего ты глядишь и глядишь? Пойдем.

Я смотрела на все еще влажное от дождя поле. Там взлетел жаворонок. Он оторвался от земли и, поднимаясь все выше и выше, звонко запел свою как бы прощальную песню.

\*

Ночью никто не спал. Австрийцы били четкими ударами по шоссе. С передовой линии бил частый ружейный огонь.

— Седлай коней! Запрягай двуколки!

— Ждать распоряжения!

— Хватит уж, нараспоряжались...

Солдаты быстро собирали свои вещи. Некоторые прятали в вещевые мешки все, что попало под руку, другие все выбрасывали из мешка.

— Грузите раненых. Быстро!

Но санитаров уже нельзя было остановить. Они бежали по дороге к шоссе.

— Ерыга, бежим вместе, миленький.

— Ну вот, сразу стал миленький. Это уж всегда так: как приспичит человеку, сразу станет миленьким. Ну, ладно, давай руку и не отставай от меня. Нам теперь, Зина, на Майдан, Повельче, Станиславов,— дорожка знакомая. Гляди, наши батареи несутся.

По бревенчатому шоссе загромыхали колеса орудий.

— Обожди малость. Балалайку-то я забыл.

— Да брось ты ее! А где Иванов?

— Он в штаб побег.

Галопом промчались всадники.

— Ударники удирают.

От деревни Судзянка участилась ружейная стрельба. Мы бежали по шоссе, где был сосредоточен весь артиллерийский огонь. Сзади показались двуколки. Вслед пронеслись на лошадях врачи. Снаряды падали на дорогу. Били гранатами. Пролетел тяжелый снаряд. Донесся шум.

— Ой, возьмите меня! Ой! — кричал раненый.

— Держи влево, тут штабеля.

— Сволочи Крапивянского арестовали в штабе дивизии! — кричал связной и понесся к деревне.

Мы пробежали немного, остановились на одно мгновение, и человеческий поток сбил нас с ног. Мы услышали взрыв и вслед за этим страшный раскат.

— В лесу склады со снарядами подожгли. Горим.

— Теперь не попасть домой...

Вспыхнуло огромное зарево в направлении деревень Гута и Майдан.

— Ударники снялись раньше нас и подожгли, дьяволы, склады.

Снова грохот взрыва. Ерыга вскочил в канаву и потянул меня за собой. Не успели

мы туда скрыться, нас придавило несколько человек. С трудом выбираемся из канавы. На дороге топот, взвизги, ругань, неразборчивые команды офицеров, конское ржание.

Лес ревет, воет, бушуя огнем. Ухо режет ржание безумствующих лошадей. Они боятся огня, упираются и не идут. Их бьют прикладами. Они вырываются, встают на дыбы, скачком обрывают повод и мчатся неведомо куда.

— Стой, кавалерия противника слева! — выкрикнул всадник.

— Спасайся! Кавалерия!..

Артиллеристы режут построшки, бьют ногами лошадей, бросают новенькие мортирки. Уносятся вперед.

\*

Деревня Угринов. Здесь я вижу Трофима. Он скачет на одной ноге, опираясь о винтовку. За ремнем у него воткнут офицерский револьвер без кобуры. Брюки Трофима в крови. Он без шапки. Трофим не отстает от перегруженной ранеными подводы.

— Трофим, ты ранен?

— Зацепило малость.

На белом «Маркизе» проскакал поручик Замбор. Стремя ударило Трофима. Трофим Терехин вытащил из-за пояса револьвер.



Спокойно прицелился. Замбор упал с коня. Мимо, поднимая столб пыли, промчались три офицера.

«Маркиз» стоял смирно. Терехин взял повод. Неловко уцепился за луку седла:

— Ой, Зинушка. Как же я теперь? Как поеду домой,—деньги-то я все растерял. Вон, подыми мне еще гривенничек. Как же я без гостинцев домой приеду? И Машутка с Васюткой ждут, поди. Растерял я деньги-то все, господи, царица небесная.

— Ты садись, Трофим. Садись.

— Подсадили тебя? Ну, айда теперь. Кати на поезд!

— Прощевай, Ерыга. Прощевай и ты, Зина. Теперь на Расею. В Липки еду, прости, господи. — Трофим перекрестился.

Завертелись колеса санитарной повозки. Широкой рысью пошел «Маркиз».

\*

Далеко на западе идет перестрелка. Галопом, на взмыленных лошадях, с зажженными факелами несутся по деревне корниловцы.

— Жги, сжигай все до погибели... Поджигай хлеба, чего остановился?

На окраине села маленькая хата. Окруженная ребятишками, на пороге сидит галичанка.

— Жги все, не жалей!

Женщина упала на колени, заломив руки, умоляла без крова не оставить.

— Австрияк твой насупротив нас пошел! А ну, ребята, поддай-ка ей жару.

Всадники хлеснули нагайкой женщину, ребяташки побежали к полю. Они метались там, среди горящих снопов ржи.

\*

Дорога идет на Тысменицу. Кто-то из артиллеристов сообщил о том, что немцы уже заняли Тарнополь. Носятся слухи о взятии Волочиска. Доносится весть о нашем окружении. Но никто не задумывается. Все идут вперед и вперед. И вскоре движение войск можно было определить по зареву пожаров. Небо огибала багровая подкова.

Деревня Слобудка Лесна. Протарахтела патронная двуколка. Быстро пробежали босые пехотинцы. Их обогнал взвод кавалерии.

Это, очевидно, был наш арьергард. Теперь можно было ожидать австрийского разъезда.

Я сижу у того же сарая, где сидела ночью. Я проспала много часов. Ерыга, наверное, искал меня. Зачем я забралась сюда? Но ведь это ж при дороге. Меня заметят. Утром я еще могла попасть на повозки седьмой дивизии. Я могла еще

утром догнать своих. Как я смела отстать?

Но так страшно было сейчас шагать. Ноги не слушались больше. Мы прошли десятки километров без сна.

Ружейные выстрелы. Но это где-то далеко. Все равно, надо вставать, я могу попасть в плен. Я с силой, настойчиво уговариваю себя подняться и снова валюсь на жесткую землю. Но не все ли равно, на чем спать?

Мягкая постель есть там, дома. На один миг в мыслях промелькнула мать у моей чистой и мягкой кровати. Но я стремглав встала. Заставила себя выйти на дорогу. Залезла на высокое дерево. Яркий закат осветил горизонт.

Я смотрю на дорогу. Вдали я вижу реденькую цепочку солдат.

Розовой далью уходили на запад леса. А там, за ними, далеко в поле остался Саша...

На дороге показалось маленькое облако пыли и темное пятнышко. Оно становится все больше и больше. Приближаясь, растет все яснее и яснее... Это всадник! — разом мелькнуло в голове. Я шире раскрываю глаза, словно этим можно улучшить зрение. Кружочками складываю пальцы и смотрю, как через очки. Через несколько минут мне ясно виден человек в белой рубашке. Он размахивает рукой над лошадью. Приближается.



Влево на опушке показалась группа всадников в серо-голубых куртках. Стрельба прекратилась.

...Разъезд, венгерский разъезд. Куда ж теперь? Да нет. Это ерунда. Ведь австрийцы еще очень далеко.

Всадник в белой рубахе летит к сараю, у которого я проспала столько часов. Покрутившись там волчком, снова мчится к деревне.

Все чаще и усиленней бьется у меня сердце. Я слезаю с дерева и выбегаю на дорогу. Как обычно мальчишки подгоняют лошадей, широко расставляя ноги, бьет всадник каблуками бока лошади. Он приподнимается на стремянах, и я вижу знакомую тоненькую талию Ерыги. Я чувствую, как спазма подходит у меня к горлу. Кровь приливает к голове. Я вижу перед собой товарища. Вот он протягивает ко мне руки, я вскакиваю в седло, лошадь поворачивает обратно.

Мы долго и молча скачем. Молча спускаемся в долину и затем въезжаем в гору.

Ерыга передохнул. Вытер лицо.

— Мы тебя искали. Я думал, ты на повозке седьмой дивизии пристроилась. А ребята сказывали, будто видели тебя при дороге у хаты. Товарищ Иванов поехал в Крымский полк митинг устраивать, а я за тобой подался. Товарищ Иванов наказывал отыскать тебя. Зин, у нас беда: кор-

ниловские ударники пулеметы забрали, один остался.

— Один, говоришь?

— Один, Зина, «Максимка»! У корниловцев офицерья собралось,—страсть! Севастопольцы снялись с позиции, бросили оружие. Мы будем пробиваться через корниловцев к станции. Не пускают они нас в Россию. По всему фронту каша. Кто куда. Говорят, будто по приказу министров митинги запретили устраивать. Солдат, Зин, расстреливают. Ребят не удержишь: что бы ни было, а воевать, говорят, не будем.

— А разве Крапивянский на последнем митинге не говорил—пока не будет власти рабочих и крестьян, ничего хорошего не выйдет. Министры, он говорил, поддерживают генералов и офицеров во всем.

— Это и Иванов говорил. Офицеры озлились, как волки зубами на нас клямят. Только опять же и ребята, которые есть, неправильно поступают: оружие побросали. А если своя власть будет, чем защищаться будем? Офицеры нас разоружают. И сейчас где какой солдат про политику разговаривает, его сейчас хлоп и арестовали. Вот она, свобода ихняя.

## *Глава тринадцатая*

**М**едленный рассвет в деревне. Тихо течет Збруч.

На соломенной крыше маленькой хаты гнездо аиста. Аисту некогда. Он отец. У него подросли дети. Начинается урок летного дела. Молодняк забирает высоту. Молодые и смелые, они отважно виражируют. Выученные, умело снижаются.

Старый аист прокалывает длинным, как штык, клювом дым над хатой. Довольный, он опускается к гнезду.

Под крышей люди.

Здесь не спят несколько ночей.

Напряженные думы.

Штаб полка.

Офицеров нет. Одни солдаты.

Над столом пар от горячего кукурузного хлеба.

Стучит аист. Там снова начинается урок. Скоро осень и отлет.

— Надо во что бы то ни стало провратиться к станции! Надо во что бы то ни



стало подбросить корниловцам вот эти воззвания. Чтоб не шли заодно с генералами и офицерами против нас. Севастопольцев, отказавшихся укреплять позиции, корниловцы разоружили, зачинщиков расстреляли, а остальных арестовали. Товарищи, нас осталось мало! Мы сидим, как в мышеловке. До нас не допускают нашу газету «Окопную правду». Вот последний номер газеты «Окопный набат». Вы сами теперь знаете, нам надо одной власти верить, своим выборным.

— Все одно, к станции пробьемся! Никаких ихних приказов боле слушать не будем. Давай нажимай, чего там еще на плант наносишь! Чего рассусоливать? Веди в бой, и никаких.

— Ты погоди, погоди. Не горячись. Шибкий больно. С чем пойдем-то? Пулемет один. Людей мало.

— Не так уж мало. А в бой я поведу сам. Дай обмозговать.

— Без офицеров не больно много накомандуешь, они все знают. Теперь как без них будем? Погоны-то с них поставивали.

— Как, как! А ты думаешь, они заодно с тобой воевать будут? Они сейчас или с корниловцами, или просто удрали кто куда.

— Давай нанеси на плант, товарищ Иванов. По планту будем наступать.

В маленькое окно смотрел голубой день.

— Высоко забирают.

— Кто, товарищ Иванов?

— Вон аисты. Глянь.

— Шутковаты нема чего. Черногус летает и кай собі летает. А к корниловцам я пойду. И воззвания я им кину.

— Ты, Запорожец? Да ты как жердь! Нигде не пролезешь.

— Ну, а хіба що? Схилиться нельзя чи що?

— Нет, Грицко, ты парень боевой, только для этого дела не подишься. Рослый больно. Вот Ерыга, тот бы подошел.

— Ну, а Ерыга-то ведь пулеметчик. А их у нас и так нехваток.

— Может, ты, Семен?

— А мне что. Могу и я. Один раз помирать.

— Ну вот и помирать. Ты про жизнь думай. Про жизнь думай.

— Товарищ Иванов! Разреши мне. Да ты не смотри на меня так. Я не боюсь итти к корниловцам, мне твое недоверие страшней. Ну, не пугай меня!

Я улыбнулась Иванову.

Иванов медленно выпрямился. Медленно отнял свою широкую руку от стола. Может быть, его рука, напряженно опиравшаяся все время о стол, набрякла, только его ладонь показалась мне тяжелой-тя-

желой. Осторожно освобождая руку, я боялась ее опустить, словно вместе со своим пожатием Иванов передал мне что-то очень большое.

Я боялась уронить с ладони его пожатие.

\*

Солнечный луч расколол тучу. Весело перекликались в деревне петухи. На окраине у последней хаты копошилась старуха. Она носила колья и сама чинила изгородь, чтобы скотина не поела сложенных в груду овощей.

Моя тропинка свернула влево, за село. Вскоре я вышла на широкую дорогу. По ней продвигались крестьяне-беженцы. Одни шли на восток, другие на запад. Мне было легко идти босиком. Со мной рядом шли женщины, такие же как я,—в вышитой рубашке, в широкой юбке и шерстяном платочке на голове. Беженцы шли босые, как покидавшая фронт армия солдат.

Ноги горели. Их касалась широкая складка моей юбки. Там были зашиты аккуратно свернутые листочки воззвания. Я шла быстро, прислушиваясь к каждому своему шагу. В такт шагам ударяли в голову слова воззвания:

...мы, солдаты-пехотинцы, шлем вам  
порицание... вы, ослепленные шовини-  
стическим контрреволюционным офи-



цеством, идете на разгром Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вы идете против нашей, против своей же власти, защищающей интересы рабочих...

\*

Прошло много часов. Над Збручем рассыпались звезды. Осенняя, огненная луна пробралась сквозь тучу. Вдоль берега отцветал съездившийся кустарник. Тихо шелестели тоненькие, прозрачные, похожие на крылья стрекозы листья ивы.

Бледным огнем догорал костер. Устроив у повозок колыбель из пестрых одеял, женщины баюкали детей. Ночью шептались старики и утром, оставив ночлег, пошли с женщинами в деревню. Голодный лагерь остался позади, ожидая хлеба.

\*

Весь день по деревне рыскали всадники. От злобы, от скуки ли несколько офицеров играло в городки. Жалобно стонала женщина, умоляя не разрушать изгородь. С какой-то нетерпеливой жесткостью вырывали офицеры неподдававшиеся колья. Рубили их саблями и потешались, как могли.

С шумом распахивались двери большого зажиточного дома. Пять офицеров, выйдя

из штаба, вскочили на коней и догнали всадников. Все они устремились к шоссе, ведущему на Каменец-Подольск.

Когда синие сумерки покрыли село, на площади собрали митинг.

В этих августовских сумерках лица собравшихся всадников в лохматых бурках казались лиловыми, как туча. Они заслушили собой громкий молодой голос:

— Солдаты России! Герои корниловцы! Вы, сознавшие необходимость железной дисциплины, вы знаете о том, что наша армия была боеспособна, сейчас она превратилась в обезумевшую толпу. Еврей Керенский живет во дворце императора и носит царское белье. Он изменник. Он предал Россию и продает немцам позиции. Мы должны спасти Россию от врага Керенского и от большевиков, которые разлагают великую российскую армию. Идет развал на фронте. Части уходят из окопов целыми полками. Там, в центре, во главе Совета рабочих, солдатских депутатов стоит немецкий шпион. Он ведет Россию к гибели. Солдаты соседнего с нами полка отказались укреплять позиции. Два полка нами расформированы. Пялки боевого генерала Черкасова, пехотинцы 19-й дивизии отстояли оружие и хотят наступать на нас. Ими командует солдат. Он большевик! Солдаты России, вы должны спасти родину. Да здравствуют ка-

рательные отряды! Да здравствуют спасители России герои корниловцы...

Он еще не кончил говорить.

Крикнули «ура». Офицера подняли.

И я увидела знакомую, такую близкую фигуру, похожую на Сашу Гусева.

Никто не услышал моего вскрика. Только стоявшая рядом со мной крестьянка толкнула меня и потянула за юбку.

...И такой же молодой...

...И так же сдвинута фуражка набекрень...

...и белокурый локон...

...да здравствуют карательные отряды... часть отстояла оружие, и ею командует солдат...

Угрюмое небо словно качнулось от ветра. Зашатало людей в лохматых бурках...

Еще никого не было в хатах. Не вернулись с митинга солдаты...

Развернутые листочки воззвания шевелил ветер. На них дышали слова:

... мы, солдаты-пехотинцы, шлем вам порицание, вы идете на разгром Советов, против единственной нашей власти, защищающей интересы рабочих, солдат и крестьян...

\*

Над Збручем мерцала звездочка. Единственная в осенней ночи. Под темным небом спали беженцы.



В эту ночь лагерь не досчитался одного коня.

Я изо всей силы колотила босыми ногами худые бока лошади.

Ночь была косматая от туч. Растрепанная, как осень.

\*

— Секреты выставлены, товарищ Иванов. Для усиления правого фланга пошел взвод крымцев, хорошо вооруженный и имеющий при себе бомбы.

— Не сдюжаю во всем разобраться. Я бы голова была побольше, а то с такой таракуцькой разве разберешься во всем.

— Ты старый солдат, Запорожец. Должен все понять. Я тебе поручаю правый фланг. Понял?

Иванов вышел из штаба.

— Зин, а чего там офицеры говорят?

Запорожец протер винтовку и несколько раз щелкнул затвором.

Я слышала, как офицеры говорили про солдат: «Сволочи, а с их настроением считаться, подумаешь еще, — солдат теперь, как капризная дама!»

Запорожец громко рассмеялся.

— Я разболвана жинка! Во-во, именно так. Что ни говори, а мы одни сами за себя. И раз в Советах есть наши выборни, за них и надо стоять. А я—разболвана жин-

ка, и больше ничего. И ничего со мной не сделают. Не хочу за них воевать и не пиду.

Словно вихрь ворвался. В хату вбежал Ерыга.

— Зина, идем со мной. Товарищ Иванов велел допустить тебя номером к пулемету.

— Меня, говоришь? Иванов велел?

— Он самый. Потому как ты хорошо умеешь задержки устранять.

\*

Страшная тишина и темный август стояли над нами. Серпом был загнут правый фланг Запорожца. Здесь с пулеметом находился Ерыга. Головная часть Иванова заняла хутор Петраковцы, вблизи от шоссе. Левый фланг расположился у опушки леса. Там у людей имелись бомбы, и там находились лучшие стрелки.

В этой темной ночной тишине, казалось, слышно было биение сердца. Предрассветный час. Ожидание атаки. По сведениям, карательный отряд корниловцев, во много раз превосходящий силы Иванова, должен был нанести удар на хутор Петраковцы.

— Неужели так и пойдут по шоссе?

— Пускай идут. Мы их подпустим поближе и вдарим с правого фланга.

— У них кавалерии много.

— А против пехоты кавалерия не страшна. Не велики страхи.

В рассвет ударил выстрел.

— Эх, молчали бы. Ведь говорил Иванов: до времени не открывать стрельбы. Невыдержка. Обнаруживают себя.

— Надвигаются... Началось, Ерыга.

— Никого не вижу. А выстрел-то был от них.

Снова выстрел...

— Идут...

— Ух ты, сколько их! Нечистая сила. А ну, отодвинься. Да чего ты дрожишь? Ты не бойся. Мы не сдадим.

— Страшно. Бегут... Густой цепью. Открывай огонь, Ерыга. Пошли... пошли прямо на Петраковцы.

Впереди неслась, размахивая саблями, офицерская орава. Бесперебойно забил пулемет Ерыги. Залпами ударили люди Запорожца. Огонь разрезал шоссе. Смятые огнем, корниловцы не останавливались. Со стороны леса, с левого фланга били лучшие стрелки. Как буйный ветер, вырвалась на бугор кавалерия корниловцев. Она хлынула на правый фланг Запорожца. Снова четко забил пулемет. По всему участку Иванова открылся ружейный огонь. Всадники в черных бурках, сбивая свою пехоту, ринулись влево. Видя замешательство противника, стремглав поднялась цепь Запорожца. В это время показалась новая цепь офицеров. К пулемету Ерыги подбежали его солдаты:



— Бросай, пулемет! Отступай.

— Кидай все!

— Стой, не тронь хобот! Куда поворачиваешь? Стой! Все одно они нас расстреляют.

— Не сдавайся. Не бросай оружия! Зин, подавай ленту.

Но Запорожца никто не слушал. Люди бросали винтовки. В это мгновение со стороны Петраковцев двинулась головная часть Иванова. Они бежали на помощь правому флангу. Слева раздался грохот бомб. Всадники в панике сбрасывали с себя бурки, падали с лошадей. На правом фланге солдаты, увидя суматоху в рядах корниловцев, хватали на ходу винтовки, только что ими брошенные, и догоняли Запорожца. Опрокинутые пулеметным и ружейным огнем, корниловцы тучей неслись к лесу. Правый фланг загибал все больше и больше. Запорожец своими длинными шагами догонял удиравшего от него офицера. Казалось, его штык вот-вот клонет корниловца.

В воспаленной голове проносились мысли: Сейчас все будет кончено, все ясно.

Захваченные с одной стороны серпом Запорожца, стремительным натиском Иванова, двинувшегося со стороны Петраковцев прямо по шоссе, и нарвавшиеся на лучших стрелков и бомбометателей левого фланга,— корниловцы бросят оружие...

И когда все смешалось, многие из них сами срывали с себя погоны, рвали свои голубые шевроны, падали на колени... кричали, и они, только что умолявшие о пощаде, вдруг, увидев воспрянувшую группу офицеров, снова оторвались от земли и снова бросились в атаку.

Я видела, как прямо на Иванова бежал офицер с наганом. Его фуражка сбилась набекрень.

— Подавай ленту... Скорее по резерву... Ах, ты! Он не видит, Иванов-то!..

— Стой, не стреляй, Ерыга. Идет резерв солдат. Смотри: они стреляют вверх. Не бьют по нашим.

Офицер бежал на Иванова. Его белокурые волосы развевал ветер...

...да вот же она... винтовка! Винтовка!

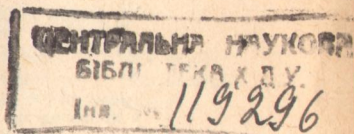
В окопах, скручивая козью ножку и насыпая в нее махорку из кисета, Василий Климыч всегда мне говорил:

— Хорошо стреляешь. Метко...— и прятал старенький кисет в карман валяющейся шинели.

\*

Мертвая рука белокурого молодого офицера не разжала нагана. Он лежал на дороге, ведущей на Каменец-Подольск. На

той дороге, по которой солдат Иванов увел своих людей, с оружием в руках, на защиту Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.





Ответ. редак. К. Зелинский  
Техническ. редактор Н. Греймер  
Уполномоч. Главлита № Б—14006.

\*

Тираж 10 200 экз. С. П. № 22. Сдана  
в производство 9/X 35. Подписана к  
печати 9/I 36

\*

Колич. листов  $6\frac{1}{2}$ . Бумага 72×90с/м  
Заказ № 876  
39-я типография „Мособлполиграф“,  
ул. Скворцова-Степанова, д. 3.

# О П Е Ч А Т К И

| Страница | Строка  | Напечатано | Надо      |
|----------|---------|------------|-----------|
| 82       | 7 снизу | пся прев   | пся крев  |
| 87       | 7 „     | Протяжение | Протяжное |
| 97       | 4 и 5 „ | такак      | такая     |

К книге Т. Дубинской „Пулеметчица“

